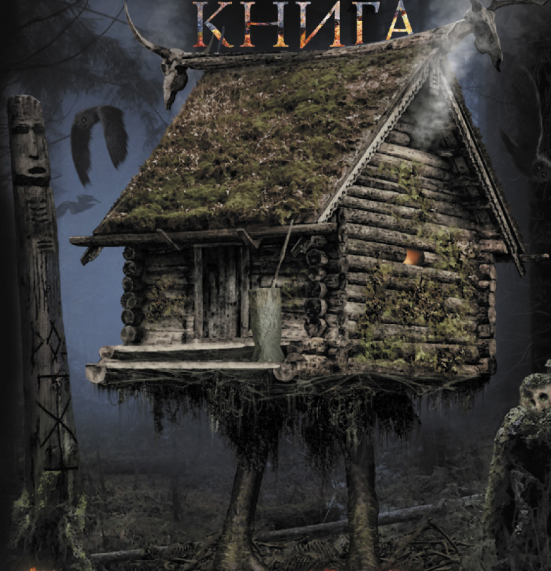
ЛУЧШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАССКАЗЫ В ЖАНРЕ ХОРРОРА ПО ВЕРСИИ ЧИТАТЕЛЕЙ

САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА



2022

Сергей Возный
Александр Александрович Матюхин
Андрей Евгеньевич Фролов
Дмитрий Козлов
Елена Юрьевна Арифуллина
Мария Анфилофьева
Ки Крестовски
Анатолий Уманский
Дмитрий Карманов
Юлия Лихачева
Оксана Ветловская
Александр Дедов
Оксана Росса
Елена Щетинина
Дмитрий Александрович Тихонов
Алексей Искров
Наталья Волочаевская
Яна Демидович
Максим Ахмадович Кабир
Олег Сергеевич Савощик
Агния Романова

Герман Шендеров
М. С. Парфенов

Самая страшная книга 2022

Серия «Самая страшная книга»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66909814
Самая страшная книга 2022 / Составитель М. С. Парфенов: АСТ; Москва; 2021
ISBN 978-5-17-145040-3

Аннотация

Старые сказки о страшном… О голоде, который сводит с ума. О рутине, которая убивает. О древних идолах, таящихся в лесном сумраке. О печати невообразимого ужаса, что направляет избранных прямиком в адское пекло. И даже обычная вода несет человечеству погибель на страницах девятой ежегодной антологии «Самая страшная книга».

Ужас выходит на новый уровень, «Самая страшная книга 2022» ставит рекорды. Это – самая большая антология из всех, вышедших в серии! И она по-прежнему уникальна и не имеет аналогов в мире. Рассказы для этой книги отбирали сами читатели. Истории, вошедшие в нее, опередили сотни других претендентов.

Новые сказки о страшном… Уже здесь. Перед вами. Наслаждайтесь!

Содержание

Важноеуведомление 7
Максим Кабир 11
Анатолий Уманский 56
Дмитрий Карманов 110
Агния Романова 155
Оксана Росса 199
Конец ознакомительного фрагмента. 232

Самая страшная книга 2022

© Авторы, текст, 2021
© Парфенов М. С., составление, 2021
© Валерий Петелин, обложка, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Важноеуведомление

Формально составителем этой антологии указан Парфенов М. С. – на деле же он и другие люди, включая редактора «Астрель-СПб» Ирину Епифанову и координаторов отбора, лишь организуют сам процесс, помогая настоящим составителям – из народа.

Каждый год собирается группа добровольцев, которые читают сотни присланных в ССК историй и голосуют за те, которые им понравятся. Каждый наш ежегодник собран по итогам таких голосований.

Так что настоящими составителями (так называемой таргет-группой) этой антологии являются:

Александр Москвин (Москва, Оренбург)
Алексей Устюгов (Каменск-Уральский)
Альвина Провоторова (Буденновск)
Анастасия Колокольчикова (Домодедово)
Анна Панкратова (Раменское)
Вадим Иванов (Самара)
Валентин Марудов (Москва)
Валерий Чамин (Мурманск)
Валерия Иванцева (Иваново)
Валерия Гриценко (Обнинск)
Виктор Гофман (Караганда, Казахстан)

Владимир Подлеснов (Тамбов)
Владислав Ерафонов (Набережные Челны)
Владимир Кутузов (Новосибирск)
Всеволод Голубков (Иваново)
Дмитрий Запевалин (Коммунар)
Дмитрий Иванов (Воронеж)
Дмитрий Иванов (Нижний Новгород)
Дмитрий Иванов (пгт Новый Торъял, Марий Эл)
Дмитрий Прокофьев (Санкт-Петербург)
Диана Шарапова (Нягань, ХМАО – Югра)
Евгений Гайбарян (Москва)
Евгения Адушева (Санкт-Петербург)
Евгения Климова (Иваново)
Егор Артемов (Горловка, Украина)
Егор Захаров (Орел)
Екатерина Ветрова (г. Саранск, Республика Мордовия)
Екатерина Долгуничева (Санкт-Петербург)
Екатерина Насонова (Химки)
Елена Калацюк (Рязань)
Елена Шишкина (Уфа)
Елена Худик (Москва)
Игорь Васильев (Санкт-Петербург)
Игорь Мартыненко (Керчь)
Илья Окунев (Щелково)
Илья Старовойтов (Курган)
Ирина Рудакова (Нижний Новгород)

Лариса Крючкова (Москва)
Ленар Закиров (Казань)
Любовь Болюкина (Краснокамск)
Людмила Кшевинская (Москва)
Маргарита Семенова (Барнаул)
Михаил Погребной (Краснодар)
Наталья Шикина (Москва)
Ольга Кирьянова (Санкт-Петербург)
Орнелла Такиева (Уфа)
Роман Некрасов (Воскресенск)
Сабина Саттар (Майнц, Москва)
Татьяна Рыбалко (Санкт-Петербург)
Татьяна Хаданович (Минск, Белоруссия)
Тимофей Марков (Москва)
Ульяна Рущенко (Ейск)
Филипп Герасименко (Невинномысск)
Юлия Балабанова (Санкт-Петербург)
Юлия Монахова (Москва)
Яна Томилова (Красноярск)

Спасибо им за труды.

А еще каждый год таргет-группа обновляется. Кто-то выбывает, кто-то, наоборот, приходит «на новенького».

Любой желающий – и вы тоже – может поучаствовать в

этом сложном, но увлекательном процессе. Достаточно заглянуть на сайт [horrorbook.ru] и отправить заявку.

Между прочим, следующая такая антология, «Самая страшная книга 2023», станет юбилейной, десятой по счету – и мы мечтаем собрать самую большую читательскую таргет-группу в истории!

Там же, на упомянутом сайте, публикуется информация о новых книгах серии ССК, равно как и максимально подробные правила ежегодного отбора.

Заглядывайте. Читайте. Это не опасно… Ну, почти.

Максим Кабир
Курьи ножки

Если бы Женю попросили рассказать, какие эмоции будила в нем та телепередача, он поведал бы о тревоге, возникавшей всякий раз, когда мультяшная изба выскакивала из-за условных елей. Рисованной была заставка, а дальше следовал десятиминутный балаганчик с куклами-перчатками. Миновало больше двадцати лет, а Женя помнил пучки прутиков на заднике – имитацию знахарских трав; помнил луну в оконце – намалеванный на бумажке полумесяц с глазом; даже музыку помнил, такую вроде бы шелестящую, подступающую к маленьким зрителям.

Передача называлась «Курьи ножки», ее с девяносто шестого по девяносто девятый крутил местный канал «Альтаир». Ничего особенного, копеечное подражание «Спокойной ночи, малыши», только вместо свиномедвежьего зоопарка там колобродили персонажи русского народного фольклора. Основными героями были Леший Леша, Баба-яга и Вий. Наведывались в избушку на курьих ножках гости: домовенок, кот, кикимора. Сюжет развивался по накатанной схеме. Всплывала некая научная или педагогическая проблема (почему нельзя лизать качели на морозе, почему в космосе невесомость, почему вода не горит), Баба-яга растолко-

вывала, озорной Леший все перевирал. Оно как бы смешно, должно быть, но Женя не смеялся, а губы поджимал. Пока взрослые люди, прятавшиеся под столом, говорили писклявыми голосами, Женя чувствовал себя неуютно и одиноко, как пес, бродящий в заоконном тумане, как последний вареник на тарелке, о котором мама говорила: «Не съешь – он плакать будет».

Заканчивалась передача так: отчаявшаяся Яга привлекала к спору Вия. Тот сидел на стульчике у бревенчатой стены, «дремал», а в финале Яга поднимала его веко, циклоп вступал в беседу и быстренько все разжевывал, подводил итоги. И никаких мультиков.

Жене въелся в память выпуск, в котором веко Вия была поднято изначально, с первых кадров – забыли опустить. Сохранилось кислое, точно электрод, ощущение, что из лобастого «Панасоника» циклоп таращится прямо на Женю. Дети присылали в избушку письма, периодически их приносил Бабе-яге домовой, устраивали конкурс на лучший рисунок. Сомнительно, что кто-то, кроме Жени, ежился под одеялом при виде сказочной компании.

Женя спал в гостиной, напротив телевизора. Передача шла довольно поздно: в десять, что ли, после городских новостей. Мама смотрела новости, погоду на завтра, и «Ножки» оставляла, чтобы сын развивался.

Воспитывала Женю однополая пара: мама с бабушкой. Семья была верующая. Не сектанты-затворники, а здоро-

вое постсоветское православие, которому не мешает крупица астрологии, щепотка вульгарного буддизма про реинкарнации и всякие милые языческие ритуалы, вроде показывания монетки молодому месяцу, чтоб деньги водились.

Бабушка учила внука креститься, подсовывала детскую Библию, а еще самую малость контролировала телевизионные вкусы внука. Если показывали «Секретные материалы», или мультик про Дракулито Вампиреныша, или советский пластилиновый мультфильм про чертей, бабушка фыркала и отвоевывала пульт. «Бесы», – говорила. Даже роботов из «Острова ржавого генерала», заблуждаясь, бесами обозвала.

Слово «черт» сама никогда не употребляла, то есть «хер» сказать могла (на соседа: хер конторский), но вместо «черт» бурчала виновато: «На букву „ч“». Будто проговорись она, ляпни, – и рогатики полезут из стен. И Женя долго этого слова избегал, лет до пятнадцати. Неприятным оно было, ладно по-старому написанное: «чорт», но с этой вот рогатенькой «ё» – царапучее, муторное.

Когда на день рождения Женя получил от ровесницы в подарок красиво оформленный сборник Пушкина, то ножничками вырезал иллюстрацию с хвостатым адожителем. Вдругорядь склеил «ПВА» страницы «Древнегреческой мифологии», где были фавны. Еще в Сочи испугался ряженого: на ходулях, морда в ваксе, сзади веревка с кисточкой. Семилетний Женя едва ли маме под сарафан не кинулся.

«Курьи ножки», в отличие от пластилиновых чертовни-

ков, легко проходили бабушкину цензуру. Наверное, потому, что ч…й среди персонажей не было, да и выглядели куклы совсем уж невинно. Так почему же у Жени мурашки бежали по спине при звуках вступительной мелодии?

«Альтаир» не только показывал, но и снимал передачу, потому за пределами города и прилегающих сел никто о Лешем Леше не слышал. Локальным мемом стала фраза: «Давайте, ребята, спросим у Вия», подходила она к любому случаю. «Где зарплата?», «Когда мы заживем нормально?», «Почему чиновники воруют?» Вий – эдакий Виктор Сиднев или Ровшан Аскеров от мира нечисти – ответы скрывал.

А Женя вырос, повзрослел и выполол дурацкие страхи. Со страхами не то чтоб полностью ушла, но забилась под паркет вера в небесного бородача. Бабушка умерла в нулевых, под конец впала в маразм и разговаривала с Богом.

Интернет о детской передаче из индустриальной Тмутаракани не ведал. По запросу выскакивал скрин ужасного качества: Ягу еще можно разглядеть, но Вий сливается с декорациями в пиксельной судороге. Студентом Женя погуглил, чтобы освежить память тогдашней своей подружке, мол, да ладно, все помнят этот треш! «Ага, – вспомнила она, – детский сад, штаны на лямках! Они ж там пьяные передачу снимали, и кто-то проблевался в прямом эфире».

Типичная городская легенда, понял Женя. Точнее, телевизионная. Такие байки циркулировали на форумах.

«…Сам свидетель, в восьмидесятые жил в Украине, по

киевскому каналу в прямом эфире шла „Вечерняя сказка“, так ведущий, дед Панас, однажды вместо „На добранич“ подытожил: „Отака херня, малята“, и его уволили…»

Это, конечно, было выдумкой. В одном выпуске «Курьих ножек» Вию действительно забыли опустить веко, но про Панаса – чушь.

В две тысячи девятнадцатом Женя по протекции знакомого журналиста устроился на «Альтаир». Холостяк, он по-прежнему жил с мамой, тот же «Панасоник» пылился в гостиной, но Женя съехал в бабушкину комнату. Для старомодной мамы «Альтаир» звучало так же, как «Останкино».

Работа была связана с Интернетом. Редактор сайта, Женя должен был переформатировать репортажи под Всемирную паутину, сочинять кликабельные заголовки, иллюстрировать статьи эффектными фотками, местные новости разбавлять глобальными.

«Альтаир», позднее дитя перестройки, располагался в двухэтажном здании, похожем на бывшую школу. Скрипучие паркеты, протекающая крыша, оглушительно бурлящие трубы. Пластик тщетно маскировал кирпично-рыжую суть здания: отовсюду перла ветхость. Но в сумрачных кабинетах кипела творческая атмосфера, техника была современной, сотрудники – приятными.

Отдел кадров отправил новенького в «Юлькино царство». Так именовался кабинет в техническом крыле, между руб-

кой звукорежиссера и аппаратно-студийным комплексом. По забавному совпадению, все три там работающие девушки носили красивое греческое имя Юлия. Бонусом к ним шел животастый молодой человек, эсэмэмщик Бурдик.

– Юля! – представился Бурдик, сдавив Женину кисть. – Покорпишь с мое – сам станешь Юлей.

– Борь, отвянь от парня, – ворчали Юли, выстроившиеся для смотра.

– Шутка! – Бурдик хлопнул Женю по плечу. – Боб!

Женя подумал, что Бобом Бурдик себя сам окрестил, а в школе его сто процентов дразнили Бурдюком.

Юли улыбались радушно, консультировали, снабдили печеньем к чаю.

– Девочки, я ревную! – страдал Бурдик. Лишний вес он компенсировал балагурством. Травил анекдоты, звал поглядеть смешной видосик. Юль – для удобства – наградил подпольными кличками.

– Только в лицо их так не называй, – интимно предупредил на перекуре.

У неистово кучерявой Юли, графического дизайнера, прозвище было Человечек. Она всех в разговоре уменьшала и ласкала: «Такой человечек мимишный!», «Ухтышка, мне человечек конфетки подарил!»

Губастую и смазливую Юлю, специалиста по социальным сетям, звали Йоха. «В честь Йоханссон, актрисы». Женя догадался: Бурдик сердится, что Йоха замужем, а то нарек бы

Скарлетточкой.

Про маленькую пухлую Юлю, тоже редактора сайта, Бурдик сказал:

– ТНТ!

– Она на ТНТ работала?

– Не-а, – и, выдержав паузу, произнес: – Ты – дух! Дослужишься до черпака – расшифрую.

И начались телевизионные будни. Операторы волокли к служебным машинам камеры и штативы, журналисты носились по коридору, шурша бумажками, в студии на зеленом фоне творилось волшебство. В «Юлином царстве» полсотни пальцев порхали по клавиатуре, принтер сплевывал распечатки, пахло кофе…

– Ну как же, – удивился Женя, поворачиваясь с офисным креслом, чтобы видеть коллег. – «Курьи ножки», детская передача.

– Впервые слышу, – сказала Йоха.

– «Давайте, ребята, спросим у Вия».

– Что-то знакомое. – ТНТ сморщила носик, изображая активную мозговую деятельность, но быстро капитулировала. – Прости.

– А когда ее показывали? – поинтересовался Бурдик.

– Да в девяносто шестом…

– Хах! – тряхнула кудряшками Человечек. – Я в девяносто восьмом родилась.

Выяснилось, все Юли появились на свет в конце «лихих»

и не застали Бабу-ягу с Лешим Лешей. Бурдик, девяносто третьего, помнил только «Зов джунглей» и «Утиные истории». Тридцатидвухлетний Женя был самым взрослым в кабинете.

– Там такая жуть, – разоткровенничался он. – Куклы старые, декорации фиговые, от одной музыки волосы дыбом вставали.

– Стопэ! – перебил Бурдик. – Тебе ж тогда восемь лет стукнуло.

– Ну.

– И ты в восемь боялся кукольной передачи?

Жене не понравился тон эсэмэмщика. Он решил, что сболтнул лишнего.

– Не боялся я. Просто рассказываю – кринжовая передача была.

– Психологическая травма на всю жизнь! Куклофобия!

– Педиофобия, – исправила ТНТ. – Боязнь кукол – педиофобия. И вообще, отстань от человека, Боб.

Бурдик отстал, но в течение часа спорадически похрюкивал:

– Леший Леша! Восемь лет!

«Альтаир» находился в центре города, возле детского сада и сквера. В окрестностях Женя иногда замечал чудаковатого старика. Худющий, расхлябанный, брюки болтаются на костлявых бедрах, сорочка расстегнута настежь, демонстрируя впалую грудь. Вокруг лысины – венчик седых во-

лос, длинных, тонких и каких-то крысиных. Старик был карикатурой на старика, словно телепортировался из мультика «PIXAR». Нос – картофельный клубень, подбородок торчком, уши огромные и мясистые и беззубый рот рубцеватыми складками.

Он торчал у детского сада, сунув клубень между прутьями забора. На конкурсе «чуваков, напоминающих педофилов», он обошел бы героя «Милых костей».

– Черт какой-то, – сказала Йоха брезгливо.

– Просто старый человечек, – жалела сердобольная Человечек. Впрочем, и у Жени не было никаких доказательств, что старик так же гадок, как выглядит. Не было – до октября.

В последние теплые деньки Женя и Юля ТНТ вышли в сквер. Осенью они начали общаться больше, у них нашлись общие интересы. Не то чтоб Женя положил глаз, ТНТ на его вкус была полновата, ему Йоху подавай. Но с другой стороны, Женя был одинок, а ТНТ – веселая, заботливая.

Выпив капучино, обмыв косточки Бурдику, они возвращались на канал. Вдруг Юля переполошилась:

– Телефон потеряла!

Редакторы ринулись обратно по аллее. Солнце кануло за тучи, тень наползла на сквер, и налетел ветер. Ветви деревьев чиркали друг о друга, как натачиваемые ножи. На лавочке, которую телевизионщики покинули две минуты назад, сидел знакомый старикашка. В руке он сжимал Юлин «Самсунг».

– Это наше! – сказал запыхавшийся Женя.

– Наше, – писклявым эхом отозвался Черт.

Продолговатое лицо избороздили морщины, в них застряли бородавки. Было прохладно, но клетчатую рубашку старик не застегнул. Ей-богу, Черт, – подумал Женя, в детстве избегавший этого слова. Черт-педофил, насилующий сатаненышей.

Повисла пауза. Мигрирующие вороны кричали в небе. Старик задрал подбородок, выставил кадык, словно оборонительное оружие. На «клубень» он насадил очки в толстой оправе. Бифокальные линзы были залиты чем-то мутным, вроде молока или спермы, глаз за стеклами не разглядеть… Да видит ли что-то старик?

Театрально воздев свободную руку, Черт ткнул узловатыми пальцами в дисплей. Телефон ожил. Юля отшатнулась: как так? Старик угадал пароль? Черт наслаждался произведенным эффектом. Он мазнул пальцем по дисплею. Замелькали фотографии, словно картежник тасовал колоду.

Юля смотрела, спрятавшись за Жениной спиной.

– Опля! – Черт придавил пальцем нужную «карту». Принюхался. Ноздри, червоточины в картофелине носа, скрывали засохшие козявки.

Черт повернул дисплей к зрителям. Фотография запечатлела полнотелую девушку без лифчика, одной рукой она сжимала телефон, другой – удерживала груди. Женя не сразу сообразил, что это Юлино селфи, что это голая Юля ТНТ позирует у зеркала.

– Отдай! – взвизгнула она.

– А то что? – спросил Черт глумливо. Изо рта вывалился язык в белом налете. Черт размашисто облизал экран, Юля всхлипнула, словно это ее лизнул мерзкий язык.

Женя очнулся от шока, вспомнил, что он тут мужик и надо действовать.

– Отдайте телефон!

В ответ старик прижал «Самсунг» к уху. Рубашка разъехалась, показался стариковский сосок, розовый, тошнотворно-длинный, как дождевой червь, наполовину вылезший из плоти.

– Алло, – манерно пропел Черт. – Это Леший Леша? Где тебя носит, дети уже собрались!

Женя мгновенно продрог, как девочка со спичками из сказки.

Черт покивал, слушая вымышленного собеседника. Кончик языка пошленько трогал воспаленные болячки в уголках губ. Взбеленившись от собственного бессилия, Женя схватил Черта за запястье и вырвал телефон.

– До новых встреч, дети! – кривлялся старик.

Редакторы шагали по аллее, отдуваясь. Юля вытерла экран салфетками, но все равно держала телефон брезгливо, как что-то дохлое.

– Откуда он знал пароль?

– Может, по отпечаткам…

– Фу, какой он гнусный! И этот голос!

– Это голос Бабы-яги, – сказал Женя рассеянно. Холод ушел, теперь его щеки пылали.

– Кого?

– Из передачи, «Курьи ножки», я рассказывал. – Женя вообразил сцену: девяностые, Черт сидит у телевизора. Ему сколько? Сорок? Сорок пять? Он смотрит «Альтаир» и повторяет разными голосами фразы кукольных персонажей: «Вий, объясни Леше, как разблокировать чужой мобильник».

Сценка пестрела хронографическими ляпами и была противной, как стариковская слюна.

У входа в «Юлькино царство» ТНТ прошептала доверительно:

– Жень, я вообще-то стриптизом не балуюсь. Это я один раз, для себя, дурочка, сняла. Будет уроком.

– Все нормально, – отозвался Женя. – Ты красивая. – Ляпнул и испугался, что комплимент совсем неуместен, но Юля только улыбнулась.

Описывая приключения коллегам, они цензурировали историю, убрав всю обнаженку.

А ночью Жене приснился сон. Будто он снова ребенок, укрылся с головой одеялом. В гостиной работал телевизор, в прореху, под одеяло, натекал мельтешащий свет экрана. Маму он не видит, но уверен, она сидит в кресле и отстраненно внимает поучительной истории.

– Леша, какой же ты глупый! Самый глупый леший в лесу!

– И вовсе я не глупый! Меня дети чаще рисуют, чем тебя!

– Ах так!

– Так!

– Получай!

– Не ссорьтесь! Цыц! Разбудите Вия!

– А его и так будить пора, чтобы он нас рассудил. Правда, кикимора?

– Правда, Леша!

– Ну, хорошо, пойду будить!

«Не надо, – думает Женя, закапываясь лицом в подушку. Наволочка пахнет потом. – Не будите его, он плохой».

– Веко застряло…

«Перестаньте!»

– Подсоби!

Женя сбрасывает одеяло, чтобы сказать маме, что хочет спать, что он уже не маленький и передача дурацкая. Но в кресле вместо мамы сидит Черт. В очках, заляпанных белой субстанцией, голый, с длинными эрегированными сосками, и ноги у него волосатые, и заканчиваются копытами, и рожки на голове.

– Твое письмо мы получили, – говорит Черт. Когтистая рука летит через комнату, разматываясь канатом.

Будильник спас Женю от растопыренных пальцев.

Через месяц после инцидента с Чертом водитель «Альтаира» Руслан окликнул Женю на проходной:

– Прыгай, подвезу.

«Жигуль» Руслан украсил иконами и георгиевской лентой, из бардачка торчала, как язык из собачьей пасти, партийная газета ЛДПР.

– Как тебе на телике? Год уже отпахал? А, пятый месяц! Я-то? Не поверишь, Жек. Столько не живут. Я пожар застал.

– Какой пожар? – спросил Женя, опасливо пристегиваясь. «Жигуль» заносило на поворотах.

– Здание наше горело, не в курсе? В декабре девяносто девятого. Тебе сколько годков? Мне поменьше было, двадцать с хером.

– А что, сильно горело?

– Человек в уголь превратился. В подвале у нас студийку оборудовали. Тогда все было иначе, камеры громадные, пленки. На коленке делали материал. Там баба такая работала – Лизка! Если тебе тридцать два, ты «Курьи ножки» застал.

– Застал, – аукнулся Женя. А в голове аукнулся гнусный голосок старикашки, так убедительно копировавшего Бабу-ягу. И где-то на задворках памяти заиграла вступительная мелодия из передачи.

– «Давайте спросим у Вия»! – пропищал Руслан, крутя баранку. – Это ж Лизка сценарии писала. Актрисуля. Умная баба, эффектная. Жопа, сиськи. Я ее возил – шишка дымилась. Сечешь?

Женя фальшиво улыбнулся.

– Мля, я б ее чпокнул, отвечаю. Но до меня слушок дошел, что у нее онко по бабской части. Рак – не триппер, не словишь. Но трахать и плакать – не мое, ни богу свечка, ни черту кочерга. И, короче, я ее бортанул. Она поняла, не дура. Едем мы с ней, она такая: «Русик, а ты в сорок шесть умрешь». И смотрит, сука, как прожигает лазером. Гля, гляди, мурашки пошли. Говорит: «Ты пьяный на машине вхерачишься». – Руслан впечатленно хмыкнул. – Вот каким пророчеством снабдила, на всю жизнь запомнил. Мне сорок шесть летом, но я умирать не собираюсь. И пьяный за руль не сажусь.

– А что с пожаром?

– Говорят, Лизка его и устроила. Я не прокурор, не знаю. В подвале курили и выпивали. Или закоротило, или уснули с сигаретой. Или, в натуре, Лизка бензином плеснула, горячая была девка. И короче. Декорации занялись, подвал прогорел, ну там бетон, вверх не пошло, успели потушить. Еле опознали Лизку. Такой у сказочки конец.

Женя представил избушку Бабы-яги, объятую огнем. Вот почему «Ножки» перестали выходить в эфир. А еще он подумал, что мог бы написать статью к годовщине трагедии – главный редактор похвалил бы…

Но где брать информацию? Не у Руслана же с дымящейся шишкой.

– А кто еще из наших тогда работал? – спросил Женя.

– Гля, да никто. Все разъехались, один я как на галерах.

А, обожди. Беленков работал! Ну, Беленков, сторож. Без руки который. С ним перетри. Я тебя у светофора высажу, годится?

Сторожа работали посменно: сутки через трое. Беленков был угрюмым здоровяком средних лет. Правую руку всегда держал в кармане, неохотно подавал левую, и Женя здоровался с ним левой рукой, полагал, так проявляет уважение.

Творческие планы разбились о досадную ошибку Руслана.

– Ты путаешь, – сказал Беленков, отрываясь от детектива в мягкой обложке. – Я здесь с две тысячи десятого. – И нырнул безразличным взглядом назад в книжку.

Женя сразу не поверил, навел справки в отделе кадров. Все верно, Беленков пришел в десятом по квоте на трудоустройство инвалидов.

Конечно, при желании можно было отыскать бывших сотрудников «Альтаира». Но пыл иссяк. И потом эти сны… сны выбили из колеи.

В среду он ссутулился за компьютером, массировал виски, надавливая пальцами на пульсирующие венки. Раздражал Бурдик, никчемно пародирующий Горбачева. Раздражали слащавые «человечки» Человечка. Йоха тараторила по телефону, разжевывала мужу, где лежит паспорт, – тоже бесила. Хотелось грохнуть кулаком об стол: заткнитесь все! Как писать в таком курятнике?

В кабинет влетел главный редактор. Бурдик и Юли при-

тихли.

– Евгений! Что с сайтом?

– Все нормально, – встревожился Женя.

– Как нормально? Господи, ребята, не маленькие же!

Мышка скользила в ладони. Заголовки материалов сошли с ума.

«Ч..т кий план развития инфраструктуры…»

«По ч. т ный гражданин города…»

«В этот ч. т верг в театре имени…»

«Ч..т вертый раз с концертной программой…»

– Чорт, – прошептал Женя. – Сбой какой-то.

Он всматривался в цензурированные и разъятые ссылки. В последнее время он отвратительно спал. Признался ТНТ, отношения с которой так и забуксовали на отметке «обед, идем кофе пить». ТНТ посоветовала записывать сны, чтобы структурировать сигналы подсознания. Вот что у него получилось:

«Нахожусь в спальне, слышу мелодию из детской передачи. Страшно, но иду в гостиную, зову то маму, то бабушку. В гостиной включен телевизор. Стараюсь не смотреть на экран. Ищу пульт, он лежит на полу у кровати. Наклоняюсь, из-под кровати выскакивает рука, когтями обдирает мне пальцы до костей. В телевизоре смеются куклы».

«У меня день рождения, на торте девять свечей. Пью „Фанту“ и не могу напиться. Мама дарит коробку, распаковываю: в коробке земля. Смотрю в коробку, на маму не смот-

рю, боюсь, что увижу не маму, а кого-то чужого. Знаю, что в коробке кукла-перчатка».

«В подвале „Альтаира“ пытаюсь открыть обгоревшую дверь, она открывается снизу вверх. Понимаю, что это не дверь, а огромное веко, но не могу остановиться. Слышу мелодию из детской передачи…»

Законспектированные сны испортили Жене выходные. Пасмурным утром в понедельник он дописал про мелодию, перечитал, психанул и порвал бумажки на мелкие клочки. Бредя по аллее, высматривал среди облысевших каштанов бугристую голову Черта. Он не встречал старикашку с октября и был этому рад. Надеялся, Черт околел в распахнутой рубашке.

День телевидения отмечали в пятницу. Директор произнес речь, все пригубили шампанское в конференц-зале и рассредоточились по зданию. Из операторской гремел хип-хоп, из бухгалтерии доносился женский смех, журналисты жарили шашлыки за гаражом. К труженикам виртуального фронта присоединились режиссеры монтажа и выпускающий редактор. Хозяйственные Юли распаковывали контейнеры с домашними вкусностями. Человечек испекла пирог, парни скинулись на вино и «Кэптан Морган».

Бурдик хорохорился:

– Где вы, бабоньки, такого, как я, найдете! Не живот это, а моя большая душа!

Травил плоские анекдоты и анекдотами оправдывался за плоскость:

– Рабинович, вам не смешно? Смешно, так и что, мне смеяться из-за этого?

Человечек захмелела от глотка мадеры:

– Как же я вас всех люблю! Какие же вы все…

– Человечки! – закруглил фразу Бурдик. Он полез к Йохе, но был отфутболен, вдруг обратил внимание на ТНТ.

– Юленька, радость, мы с тобой полтора года душа в душу…

Женя попивал виски и думал благостно: «Все ведь хорошо, славный коллектив, мама мной гордится».

ТНТ выскользнула из его загребущих лап, подплыла к Жене. В нарядном синем платье, в завитках, как барашек. От нее пахло духами и лаком для волос.

– Вот скажи мне, Жень, чего мужикам надо?

– Это смотря каким.

Юля взяла со стола бутерброд, опомнилась: «Я же на диете, заметно?» – Бутерброд отложила и выбрала оливку. Потрогала ее ртом, высасывая влагу, плеснула очами, тихим населенным омутом.

– Ну тебе, тебе, чего надо?

– У меня все вроде есть.

– Поделишься? – Юля сунула ему дольку мандарина. – Закусывай! И идем прогуляемся, душно тут.

Они вышли под завистливым прищуром Бурдика.

– Мужикам, – рассуждала пьяненькая ТНТ, – секс нужен. Допустим, он и мне нужен, но зачем так в лоб? Можно же лаской, интеллектом. А не вот это: сразу в постель.

Женя соглашался, отхлебывая мелкими глотками из прихваченного стаканчика. В коридоре царил полумрак, снаружи монотонно гудел заглушаемый стеклопакетами ветер. В кабинетах гомонили телевизионщики, но Женя представил, что они с Юлей изолированы от окружающих в скрипучем, обожженном здании.

– Ты классный, – говорила ТНТ. – Дай локоть, у меня шпильки. Ты надежный. А мы, бабы, не ценим. Ой, икаю. Ой, дура. Же-ень.

– А? – рассеянно улыбнулся он, слушая спутницу вполуха.

– Же-ень, а я тебе на той фотке как? Правда понравилась?

– Очень понравилась.

– Хочешь меня поцеловать?

Через минуту от ее помады не осталось следа. Задыхаясь, как после кросса, Юля поманила пальчиком. В конце коридора отворила дверь.

– Ее никогда не запирают. Что стоишь?

Они ввалились в темноту, облизывая друг друга. Вспыхнула лампочка. Помещение дробили стеллажи с видеокассетами.

– Что это? – Возбуждение схлынуло, точнее, смелось взбудораженностью иного рода.

– Архив, – объяснила Юля, стягивая платье к животу. В

пыльном экране отразилось деформированное лицо Жени. На телевизоре примостился видеомагнитофон и DVD-проигрыватель. – Его отцифровывают потихоньку, но тут этих кассет!..

Целуясь, они втиснулись между стеллажами. Юля выгребла из бюстгальтера грудь, притянула Женю нетерпеливо. Зловредная память подбросила образ: расхристанный Черт, длинный стариковский сосок. Наметившаяся было эрекция дала заднюю. Почуяв неладное, Юля опустилась на колени, рванула молнию, заурчала.

Он уперся руками в стеллаж и смотрел перед собой. Завхоз приклеила к полкам стикеры. «1996, июль». «1996, июнь». И на кассетах были приписки: «Город и люди», «К юбилею комбината», «Курьи ножки».

В пластиковом корешке Женя будто увидел Бабу-ягу, Лешего Лешу и Вия, покуда дремлющего у бревенчатой стены. Стальной обруч сковал черепную коробку.

Юля освободила рот и посмотрела снизу вверх:

– Что-то не так?

– Все прекрасно. – Он поднял ее, поцеловал, надеясь высечь искру из предательских чресл, сказал, гладя по щеке: – Давай просто постоим.

Глаза девушки недобро блеснули.

– Ясно! – Она выпуталась из объятий, упаковалась в кружева и атлас.

– Ну, Юль.

– Я двадцать три года Юль, – и вышмыгнула за дверь.

В кабинете она подсела к режиссеру монтажа, льстиво подсмеивалась и, рассказывая о чем-то, интонационно выделила слова «на полшестого» – и еще зыркнула в сторону Жени мстительно.

Он собирался написать ей в субботу, но смалодушничал. Волновался, размышляя про импотенцию, включил порно и облегченно выдохнул. Мама позвала обедать. У мамы из правой руки росла тряпичная кукла. Женя отшатнулся, до крови прикусил губу.

– Что такое? – Мама посмотрела на руку, на кухонную перчатку с силиконовой вставкой. – Что, сынок?

– Ничего. – Он выдавил улыбку, как последние капли кетчупа из тюбика.

Теперь он переживал за свой разум, а не за член. И в понедельник переживания усилились.

День не заладился с утра. Одна из трех Юль, понятно какая, встретила сухим «привет» и уткнулась в монитор. Главный редактор обругал за халатность в рабочем чате. На перекуре Бурдик весь извивался ужонком. Высмоктал сигарету, вторую.

– Ну что, Жек, ты у нас нынче черпак. Знаешь, как кличка ТНТ расшифровывается? «Телочка на троечку».

Женя всячески избегал рукоприкладства. Но в тот день совпал ряд факторов: бессонница, желание постоять за честь подружки. Кулак сам собой полетел в физиономию Бурдика.

В полете его траектория изменилась. Вместо полноценного хука получился смазанный тычок.

Потому что на мгновение Жене померещилось, что его руку венчает кукла-перчатка.

Женя ошарашенно разглядывал пятерню. Бурдик – Женю. Пусть удар был и слабым, он застал эсэмэмщика врасплох.

– Придурок! Я заявление напишу! – Реплика адресовалась стоявшему на крыльце Беленкову. Сторож не отреагировал, пристально разглядывая Женю. В окне «Юлькиного царства» маячили головы Юль.

«Приехали», – поник Женя, под конечным пунктом путешествия подразумевая и конфликт с коллегой, и галлюцинации.

Вскоре его ожидала пара сюрпризов. Юля, которую Женя для себя благородно переименовал в ТНП, угостила тортиком: косой хук потрафил даме. Настроение Жени улучшилось, он игнорировал сердитое молчание Бурдика и почти не думал о куклах. Вернее, думал, но так: «Положим, у меня эта педиофобия, ничего, жить можно, боязнь открытых пространств или лифтов куда хуже».

Вечером на проходной Женю подозвал Беленков.

– Ты спрашивал про пожар? – здоровой рукой сторож подал бумажку. – Тут мой адрес, заходи завтра. – И, пресекая расспросы, скрылся на КПП.

Что Беленков живет один, было понятно сразу. Холостяцкая нора, обшитая вагонкой, не чистая, не грязная, не уютная, не страшная – серединка на половинку. Книжный шкаф, старенький диван, телевизор накрыт черной тканью, как вдова в траурной вуали.

– Водку будешь? – спросил сторож. – А придется. Я в одиночестве не пью.

Он принес бутылку, хлеб и колбасу на блюдце. Орудовал левой рукой, правую прятал в кармане спортивок. Выпили, Беленков обновил рюмки.

– Тебе кошмары снятся?

Женя моргнул.

– Я с этим двадцать лет живу. – Беленков сверлил взглядом. – Я своих выкупаю.

– Своих?

– Я в дерьмо упал с головой, а тебе так – штанину обрызгало. Но запашок-то я чую. Снятся или нет? Куклы, огонь, мертвецы?

– Куклы снятся, – сипло сказал Женя.

– Это будет наш базис. Фундамент задушевной беседы. – Беленков прожевал колбасную фишку. – Я не соврал, я на «Альтаире» с десятого года. По трудовой. Раньше склад сторожил, а еще раньше работал в Театре юного зрителя. Актером, вот как. Удивлен? Сейчас изображаю пугало на проходной, а тогда – зайчиков, Дедов Морозов. И не было у меня этих амбиций: «Вишневый сад», «Три сестры». Зайчики

– так зайчики.

Амбиции были у Лизы, нашей звезды. Ей все пророчили карьеру актерскую, она и сама знала, что прославится. В кино бы снималась, сложись все иначе. – Серая угрюмость Беленкова сделалась на оттенок серее, на регистр ниже. – В девяносто пятом Лизка уехала в Москву. Целое лето – ни слуху ни духу, а осенью вернулась. Не знаю, что там приключилось с ней, но что-то очень плохое. Обманули ее крепко, может изнасиловали. Она поменялась. Другой человек, другие глаза. Про колдовство рассказывала, что она – ведьма и всем отомстит, всему миру. Вот такая в ней обида жила, жрала ее. Мы, ну, коллектив театральный, думали, она так защищается, фантазиями. Ты водку не грей.

Выпили.

– Вот ты представь: жизнь твоя по швам трещит, а тебе надо на сцену выходить и детей развлекать. Лизка выходила, развлекала, но дети что-то такое чувствовали, малыши плакали на спектаклях постоянно. Я Лизке говорю: нужна нам перезагрузка, давай вон на «Альтаире» передачу свою делать. Телик все-таки – не задрипанный театр. Она: нет, нет. Потом во время спектакля у нее кровь пошла. Врачи сказали: рак. Она две недели не появлялась, и – бац – такая улыбчивая, решительная, только глаза жуткие, горящие. Говорит: идемте на «Альтаир». Мы с нее пылинки сдували, Лизонька, когда операция, что доктора говорят? А она заявляет: не будет операций. Я так вылечусь! Ну как же – так? Это же

рак, страшная вещь. Она улыбается. Вылечусь-вылечусь. И села программу сочинять. «Курьи ножки». Нас было трое. Я, Лизка и Андрюша Колпаков, он был нас старше. В штате мы не числились, только над «Ножками» работали. И так мне понравилось! Свежие идеи пошли. Лизка таки снова расцвела, я думаю: чем черт не шутит, бывает же, что люди выздоравливали без медицинского вмешательства.

Женя перебил, осененный догадкой:

– Вы – Леший Леша?

– Прошу любить и жаловать.

– А Вием был этот… Колпаков?

– Колпаков был Ягой. Вий – это Лизка.

– Да ладно! – Женя мог поверить, что Ягу озвучивал мужчина, но чтоб женщина – Вия?

– Я сам обалдел. У нее этот голос изнутри грянул. Как зверь из берлоги вышел. Спрашиваю: не напугаем ли мы зрителей?

«Напугаете», – подумал Женя.

– Лизка сказала, мы делаем передачу нового типа. Она вообще с детьми не заискивала. Придумала свои голоса для кота, кикиморы, домового. Колпаков смастерил задник, сочинил музыку. Заставку заказали у аниматоров. Кукол Лизка пошила. Долго у нее Вий не получался. Нам нравится, а она его ножницами – чик! Не то! Ты вообще знаешь, кто такой Вий?

– Чудовище. – Женя читал повесть Гоголя, смотрел

фильм с Куравлевым.

– Дух, несущий смерть. У древних славян был бог Вей, а у иранцев – Вайя. Это все одна лавочка. Наши предки верили, что взгляд Вия испепеляет города. У него веки опущены до земли, но черти вилами их поднимают.

Женя заерзал.

– Я спрашивал Лизку: почему Вий? Дети его не знают, дети знают Кощея, Снегурочку. А она зациклилась. Говорит: глаз Вия – коридор. Вся взмыленная, приносит куклу. Ты помнишь ее?

– В общих чертах. – Слабый лучик света выцепил из темного угла коротыша в тряпичных лохмотьях, вязаную голову, кармашек посреди лица – веко.

– Ты не то помнишь. Ты одно видел, а там было другое, изнанка. Она ему рот сделала, а во рту были человеческие зубы, детские. Я решил, она свихнулась совсем. Она так странно себя вела, все страннее. На кладбище ездила постоянно. От нее пахло сырой землей. Но кукла – это предел! Ты такое собираешься по телевизору показывать? И где ты зубы взяла? В мусорном баке за стоматологией? Говорит: зубы молочные, мои, их моя мама сохранила. И, мол, я рот зашью, зубы никто не увидит. Час от часу не легче! Если не увидят, зачем они? Улыбается: нужны. И тогда я подумал… – Беленков помассировал переносицу. – Как сформулировать-то? Подумал, что для нее вся эта возня – не просто съемки. Что-то гораздо большее. Ритуал.

– Как вуду? – спросил Женя. Водка подействовала, фантазия швырялась образами: восковые куклы, куклы из веток, куклы из костей. Языческий шабаш в обертке детской передачи.

Беленков, усталый и трезвый, произнес:

– Русское вуду, хтоническое и беспощадное. Полагаю, Лизка думала, это изгонит ее болезнь. И на каком-то этапе потеряла здравый смысл. Мы находили в студии перья, узелки. Меня тошнило от этого Вия с потайными зубами. Но там были не только зубы. Однажды я взял его и ощутил что-то твердое под одежкой. Это был металлический овал с двумя дырочками для саморезов, старый и истлевший. Табличка – такие цепляют на крест. Фотография какого-то давно усопшего мужчины.

Женя поперхнулся слюной.

– Она украла ее на кладбище и проволокой привязала к кукле, фотографией внутрь. Я спрашивать не стал, но прочел позже: это называется «настаивать на мертвяке». Таблички кладут в воду, и это мертвая вода. Прикладывают к зеркалу – получается мертвое зеркало.

– И вы никому не сказали?

– Мы же дружили, – напомнил Беленков. – И, кроме того, я стал ее побаиваться. Колпаков тот вообще… Мол, она ему доказательства предоставила. Он с ней повадился на кладбищах ночевать, в лесах. Втемяшил себе в башку, что они видели настоящего Вия. Связался с чертом – пеняй на себя.

Женя думал про малышей в небогатых квартирах девяностых, доверчивых малышей у телеэкранов. И вместо сказки им показывают спектакль, срежиссированный чернокнижницей.

– Последней каплей стали письма. На адрес «Альтаира» стопками приходили письма от зрителей. И вот захожу я в избу, мы так нашу студию подвальную называли – изба. А Лизка письма ест.

– Как ест?

– Ртом, – сухо ответил Беленков. – Рвет бумагу, на которой эти домики, мамы-папы, солнышко – ну что дети рисуют. Комкает и жрет, глотка как у удава распухла. Увидела меня и говорит с набитым ртом: будешь? В них чистая энергия, говорит. И я ушел, дверью хлопнул. А в декабре Лизка сгорела. Менты сказали, замкнуло осветительный прибор. Но, по-моему, она доигралась.

– С чем доигралась? – не понял Женя.

– С мраком, разумеется. – Беленков встал из-за стола. – Это же как цепного пса дразнить. – Он снял с полки стопку фотографий, положил перед гостем. – Вот мы все, еще до телевидения. Я, Лизка и Андрюша.

На снимке лохматый Беленков обнимал обеими руками женщину в шароварах, подтяжках, рыжем парике. Лизка была красивой и миниатюрной, ничего общего со злобной Малефисентой, смоделированной фантазией. Нарисованные веснушки на щеках – разве так выглядят ведьмы?

Колпаков, высокий мужчина сорока с гаком лет, держал под мышкой поролоновую голову волка и широко улыбался. Женька не сразу узнал его без бородавок и грязных бифокальных очков. А узнал – охнул. С фотографии ухмылялся Черт.

– Я его встречал! Он трется вокруг канала!

– А ночами, когда моя смена, смотрит в окошко КПП. – Беленков подвигал губами, будто сжал и разжал эспандер. – После пожара он слетел с катушек. Погубила его Лизка, и себя погубила. Был Андрюша – стал юродивый.

Женя оторопело переваривал информацию: могильные таблички, поедание рисунков, иранские божества.

– Утомил ты меня, – резюмировал Беленков. – Ступай. Тебе на работу завтра.

– Погодите! – растерялся Женя. – Вы упоминали сны. Что мне кошмары снятся.

– Иди, – отмахнулся Беленков левой и как-то мигом опьянел, поплыл отечным лицом. – Занавес опущен.

– Что с вашей рукой? – Без двухсот граммов Женя не решился бы спросить.

– Много вопросов задавал, – ощерился Беленков.

И аудиенция закончилась.

Два дня Женя противостоял соблазну. Дома, на продутых ветрами улицах, в кровати, полной кошмаров, в кабинете с насупленным Бурдиком и девчонками. Он покупал горя-

чий шоколад Юле, которую теперь мысленно называл «моя Юля», отличая от тезок. Она смеялась и теребила его рукав, манерно посасывала соломинку или сигаретный фильтр. Женя думал о фотографии актеров: один стал инвалидом, второй – Чертом, третья сгорела заживо.

«Они видели настоящего Вия».

В четверг Женя попрощался с коллегами и двинулся по коридору мимо аппаратно-студийного комплекса и гримерки. Отворил дверь в тупике, переступил порог – будто шагнул наружу из мелового круга. Лампочка зажглась, Женя прикрыл дверь и прошел к полкам.

«Одним глазком, и забуду навсегда».

…Он выбрал декабрь девяносто девятого. Кассета «FUJI» вмещала восемнадцать выпусков «Курьих ножек». Он собрался запереться и три часа любоваться куклами, сшитыми безумной умирающей женщиной. Непослушными пальцами Женя вытряс из коробки черный прямоугольник. Кассету не перемотали, досмотрев почти до конца.

Комнатушка пахла землей, или Жене так казалось. Он понажимал кнопки, долго разбирался с настройкой. Магнитофон поглотил вэхаэску, зашуршала магнитная лента, запустила цепочку ассоциаций: «Звездные войны», «101 далматинец», «Матрица», прочие фильмы, которые мама приносила из проката.

Стул, хромой, как доктор Хаус, проскрежетал ножками по половицам. Женя сел вплотную к телевизору. Мелодия спер-

ва зазвучала в его голове, потом – в динамиках. Бесхитростный клавишный перебор в семь тактов – сыграл бы и ребенок. Из-за частокола елей выскочила зооморфная изба.

«Не так страшен чорт, как его малюют», – даже мысленно Женя деактивировал плохое слово бубликом «о».

В коридоре кто-то засмеялся. Женя ослабил хватку воротника.

Заставка сменилась декорациями. Знакомый до дрожи профиль луны в окне, Баба-яга и Вий. Отсутствие в кадре Лешего Леши могло быть связано с дезертирством Беленкова. В наказание ковен уволил аватар предателя.

– Добро пожаловать в нашу избушку, дети! Без вас тут совсем темно, и мы играемся в темноте…

Голос Черта разлился по коже холодком. Женя фиксировался на деталях, которые упускал в детстве: неряшливая картинка, затрапезный облик Яги, поскрипывание, выдающее суфлера-кукловода.

«Под столом сидит Чорт». – Женя поежился.

– Спасибо за ваши письма, дети! Нам та-ак приятно! Без них мы бы умерли от скуки, правда, Вий? А, ты еще спишь!

Позади Яги, как мумия короля на троне, восседал Вий. Женя покрылся испариной. Если верить Беленкову, вязаная голова прятала молочные зубы. Под лохмотьями лежала табличка, отковырянная с могильного креста. Неужто маленький Женя это чувствовал, улавливал эманации и оттого дрожал?

Глаз Вия – коридор. Портал из подвала «Альтаира» в квартиры детей…

– Сейчас я покажу вам мой самый любимый рисунок. А вы хлопайте, ладно? Понравится – хлопайте, нет – надуйтесь, как морские ежи! – Баба-яга хихикнула. – Вот и он!

Экран заполнило детское художество.

– Я слышу ваши аплодисменты! Посмотрите, как здорово нарисовал наш зритель маму! Это же мама, да?

«Нет, – подумал Женя, остолбенев. – Это не мама, это Иисус».

Женоподобного Христа Женя в меру таланта скопировал из детской Библии. Христос был подарком бабушке на день рождения. Двадцать два года Женя не видел рисунка, но безошибочно его узнал.

– А кто же автор этой картины? Женечка! Какой ты, Женечка, талантливый мальчик! Мы приглашаем тебя в нашу избушку, приходи и познакомься с Вием!

Одинокий зритель в душной комнатушке отрицательно мотнул головой.

– Настало время разбудить Вия и показать ему Женечкину картину!

На периферии зрения что-то мелькнуло. Тьма зашуршала между стеллажами. Там, где размагничивались никому не нужные кассеты и кружились потревоженные пылинки. Где настоящие ведьмы ползали по могилам и настоящие черти облизывали черные рты.

– Ты видишь?

Женя взвился, дернул штепсель, надеясь, что магнитофон зажует пленку.

Маму он застал у плиты.

– Сынок, на тебе лица нет! Ты захворал? На работе все нормально?

Женя убрал руку, тянущуюся к его лбу.

– Ма, помнишь, была такая передача – «Курьи ножки»? Ты случайно никаких писем не посылала на канал?

– Ой, – мама улыбнулась виновато. – Представляешь, посылала.

Женя поник. Сам не знал, отчего накатилась слабость. Ну посылала, и что? Столько лет прошло, какая к чорту разница, что его мазню, возможно, съела неадекватная женщина?

Лизка съела Христа.

– Хотела тебе сюрприз сделать. Каждый день включала эту передачу, ждала, что рисунок твой покажут. Но не показали почему-то, аж обидно. – Мама всплеснула руками: – «Курьи ножки», да. Ты так их любил.

– Никогда не любил, – пробормотал Женя. – Терпеть не мог.

– Да?

Он вышел из кухни, а мама окликнула:

– Кушать садись! Я щи сварила!

Убранство сторожки состояло из дивана, стула, стола, переносного радиатора. На крючках висели ключи от кабинетов – почти полный набор, сотрудники уже разбрелись по домам. Монитор транслировал зернистую картинку с наружной камеры.

– Вы что-то скрыли, – атаковал Женя с порога сторожки.

Беленков захлопнул книгу.

– Стучать не учили?

– Вы говорили про кошмары. Мне куклы снятся. – Женя зашлепал ботинками по линолеуму, будто топтал подошвами отвратительные сны. – Объясните мне!

– Так и быть. – Сторож убрал книгу – по стечению обстоятельств это был томик фантаста Хайнлайна «Кукловоды». – Я солгал. Я ушел не из-за писем. Письма не были последней каплей. Я сбежал из-за просьбы Лизки. – Беленков вынул из кармана руку. Женя заметил, что левый рукав его толстовки закатан манжетой, а правый свисает пустышкой, слоновьим хоботом. – Лизка сговорилась с нечистой силой. С чем-то в лесу или на кладбище. Она продала свою душу и души детей, которые присылали нам письма.

Жене хотелось закричать, что это сказки, глупости, но рот пересох, язык прилип к небу.

– Лизка просила, чтоб после ее смерти я держал куклу Вия у себя. Я отказался. Я уже верил ей, я уже видел…

– Видели что?

– Чертей. – Беленков посмотрел Жене в глаза.

Пол под ногами качнулся, будто сторожка приподнялась и пошла на птичьих ножках. Это подогнулись Женины колени, но почему тогда ключи зазвякали на крючках? В смежном помещении, вероятно туалете, забурчал унитазный бачок. И словно что-то промчалось на мониторе: то ли птица едва не задела камеру, то ли снежный вихрь.

«Не слушай его, он пьяница, он допился до пластилиновых ч. ртиков».

Но Женя слушал.

– Лизка сама устроила пожар. А может, ее заставили те покровители, которые дали ей лишние пару лет жизни. Она сожгла себя. Но нас – меня и Колпакова – она тоже уничтожила.

Беленков закатал рукав. Культя напоминала вареное тесто, хинкали. Из собранной складками шкуры проглядывала начинка цвета сыра сулугуни – кость, эпифиз. Женя внутренне сжался.

– Я видел куклу. Видел Вия на своей руке. Он требовал поднять его веко. Он сказал: дети рано или поздно придут в избушку.

– Вы же не взаправду, – прошептал Женя.

– Я избавился от руки. – Беленков подвигал обрубком. – Взял болгарку и…

За окном хороводили тени, будто призраки собрались у ворот или что похуже, на букву «ч». Бабушкина подруга хвасталась, что как-то в Прибалтике, в Каунасе, посещала му-

зей, посвященный ч…м, а бабушка хмурилась и норовила сменить тему. Рассердилась: ну хватит, Ленка, «этих» поминать. Подруга и не поняла, кого – этих.

Беленков потрогал культю, словно в пупок палец сунул.

– Вы понимаете, – вспыхнул Женя, – что это бред?

– Пытался понять. В психушке себя уговаривал: ты болен. Почти поверил. А потом сюда устроился. Думаешь, то, что ты здесь оказался, – совпадение? Она нас запрограммировала! Попробуй бороться – черта с два!

– Психушка! – воскликнул Женя в сердцах. – Все ясно! – И выбежал из сторожки за ворота. Расчищенная экскаваторами дорога таяла в дымчатой полутьме. По верхушкам сугробов гуляла поземка.

Завибрировал телефон, звонила Юля, посол нормальности в лихорадочном мире зубастых кукол, отпиленных конечностей, сожженных ведьм.

– Привет! – Женя лодочкой озябшей ладони загородил телефон от ветра, будто нес свечу.

– Привет, дружок-пирожок, – проворковала Юля. – Ты на работе еще?

Женя оглянулся на ворота:

– А ты разве не ушла?

– Куда ж я без тебя уйду. Я тебе сюрприз приготовила. Спускайся в подвал.

И связь прервалась. Женя смотрел на экран так же, как смотрел бы пещерный человек, найди он под кустом мобиль-

ник, оброненный путешественником во времени.

Женя приплясывал на промозглом ветру. Куда-то задевались пешеходы, автомобили проносились железными зверюгами. Камера бездушно наблюдала за танцами продрогшего человека.

«Запрограммированы», – пиликнуло подсознание.

Женя ругнулся и посеменил к воротам. В прозрачной будке сторожа застыл инвалид. Монитор озарял левую половину лица, правая половина обуглилась тьмой. Двор притих. В запертых кабинетах спали компьютеры, только выпускающий редактор контролировал эфир на втором этаже. Вход в подвал находился с торца здания. Женя неуверенно толкнул дверь. Проем был рассчитан на хоббитов. Понимая, что совершает роковую ошибку, Женя пригнулся.

«Хватит бояться», – дискутировал он с маленьким мальчиком, который как ч. ти ладана страшился ч. тей, даже ч. тово колесо называл колесом обозрения.

В глубине подвала горел свет. Штукатурка осыпалась, пауки устроили зимовье в углах. Под потолком змеились, червились провода.

– Юлька! – позвал и сам себя не услышал. Вбок уходило длинное помещение с земляным полом. Трубы, куски шифера, плесень. Вниз спускалась лесенка. Ч..това дюжина бетонных ступенек. Женя сказал себе, что не взвизгнет, когда Юля выскочит из темноты как ч. тик из табакерки. Она же разыграть его решила, подшутить, а потом отдаться здесь, а

он возьмет, еще как возьмет, реабилитируется…

За углом была дверь. Женя скрипнул металлической створкой. То, что он увидел, буквально обесточило мозг.

К закопченной кирпичной стене привалилась фанера с нарисованными бревнами, с фальшивым оконцем и знакомой луной. Черный потолок, голый пол, массивная камера SONY на треноге. Камера испытала на себе губительное воздействие высоких температур, оплавилась, застывшие сопли пластика оплели штатив. А вот светодиодная панель, освещающая задник и человека, стоящего на импровизированной сцене, была новенькая и целехонькая. Женя вспомнил, что такая панель пропала из операторской летом.

Человеком перед сломанной камерой был Ч..т. Правую руку он спрятал за спину. Поверх рубашки накинул бушлат, но очки так и не протер. Говорят же: ч. т во что ни нарядится, все ч. том останется. Морщинистое лицо лоснилось, с реденьких волос капало. К ароматам погреба и пепелища примешивался запашок горючего.

Глядя в объектив, Ч. т мурлыкал голосом Бабы-яги:

– И увидел Вий, что Лизавета Могиловна исполнила уговор, и забрал ее к себе в нору через огненные врата. Нынче она хозяюшка в доме его, с чертовой бабушкой оладушки ест, костный мозг сосет.

Женя ошеломленно таращился на старика. Штука, называемая по-латински «рацио», требовала, чтоб он бежал прочь, но ноги приросли к бетону.

– Как вы тут оказались? – спросил Женя.

Лукавая улыбка исказила губы старика.

– Просочился, голубчик. Оно ведь как? Черт и в пташку превращаться умеет, и в червя, и в мыша. Было бы болото, а черти будут.

Слово на «ч» резало слух.

– Где Юля?

– А мне почем знать? Дома, наверное. Не в моей она юрисдикции.

Женя одеревенел. Голос принадлежал Юльке, но доносился из беззубой пасти старика. Не отличишь от оригинала.

– В такой вечер по подвалам только черти рыскают. Гуляйте, черти, пока Бог спит! – На последней фразе старикашка вернулся к голосу Яги. И пояснил в камеру: – Юрисдикция, дети, это право производить суд.

Женя давно зашвырнул на антресоль веру в Создателя: немодный, пахнущий церковью, ладанкой, миррой бабушкин хлам. Но в тот миг траченная молью вера вновь пришлась ко двору.

Женя увидел детей.

Они теснились на грязном полу, где минуту назад было пусто и голо. Мальчики и девочки с бледными лицами и отрешенными глазами, маленькие зрители «Курьих ножек». Бетонные стены раздавались вширь, чтобы их вместить. Дети сидели, обхватив коленки руками, и неотрывно смотрели на сцену. Они мерцали. Трепыхались зыбко, как крылья мо-

тыльков или картинки тауматропов.

– А, – обрадовался Ч..т. – Увидел? Это души, миленький. Все, кто письма Вию писал, все, кроме одного.

– Нет, – прошептал Женя.

Ч..т хрюкнул.

– Я тоже думал, он столько не съест. Съел, не подавился. По ребеночку в месяц. Строго-настрого.

Несколько зрителей оторвались от Ч. та и скользнули по Жене безразличными взорами. Двадцать лет… каждый месяц… выходит, двести тридцать девять душ. Сначала крошки. Потом повзрослее. Ровесники Жени.

Ч..т улыбнулся, озирая паству, как уходящий на пенсию учитель – выпускной класс. Заговорил, не голосом Яги, не голосом Ч. та, а усталым голосом Андрея Колпакова.

– Вот и до тебя, последнего, добрались. Извини, что так долго, картинка твоя с Исусиком нам правда понравилась. Я сам утомился, работы непочатый край. Пора мне к Лизавете присоединиться, на червивых перинах возлечь у Виевых копыт. Уж подкормили мы его! – Старик щелкнул пальцами, чиркнуло, ноготь воспламенился. Синий газовый язычок. Колпаков осенил себя богохульным крестом, от пупка к плечам, коснулся лба горящим пальцем. Голова вспыхнула, как сера. Огонь объял волосы. Женя решил, это сон.

Тень старика, тень изуверского Чиполлино, тряслась на стене. Сами собой полыхнули декорации. Пламенеголовый жестом фокусника выпростал правую руку. На кисти была

нанизана кукла. Вий выглядел так, словно все эти годы провел в земле. В маленьком ротике белели плотно посаженные молочные зубы.

– Давайте спросим у Вия! – закричал Ч. т, откидывая вязаное веко.

Вместо глаза в морде куклы зияла дыра, и она устремлялась вглубь мироздания алой пульсирующей червоточиной, светилась, будто поезд приближался по тоннелю. Кольская сверхглубокая скважина, шахта русского ада, ненасытный зев.

Жене показалось, что он – освежеванная свинья. Ледяной Плутон, бессмысленно вращающийся по орбите в миллиардах километров от Солнца.

Моча брызнула по ногам.

Ч..т упал на колени. Лицо его булькало и пузырилось. Очки свалились с переносицы, открывая глаза: две заплесневелые лунки. Пламя объяло бушлат, но старик улыбался. Он сказал, обращаясь к дверному проему:

– Лешка! Где ж ты пропадал, негодник!

Беленков оттолкнул Женю. Пересек комнату; мерцающие дети исчезли, но Женя знал: они всегда будут здесь. Ч..т рухнул на бетон, стремительно прогорая. Перчатка слетела с руки и лежала, скаля зубы. Беленков пинком ботинка отфутболил куклу в огонь. Она ударилась о пылающий задник, брызнули искры. Сторож схватил Женю за локоть и потащил прочь.

Девятнадцатый год закончился. Наступил двадцатый. Горожане долго обсуждали самосожжение безумного Колпакова. Сотрудники «Альтаира» присматривались к свидетелю этого кошмара, словно тщились разглядеть в нем непоправимые перемены. Человечек угощала пирогами, Йоха – пресными самодельными конфетами, третья Юлька увивалась вокруг, будто руно из заботы ткала.

Беленкова Женя больше не встречал: сторожа уволили за халатность, дескать, в подвал запускал кого ни попадя. А вскоре и Женю уволили, он избил Бурдика на глазах Юль, за какую-то шпильку накинулся. Юли уговорили Бурдика заявление не писать. Но к Жене поостыли.

Про увольнение мама узнала только в феврале. Целый месяц Женя уходил из дому утром, покупал баночное пиво и прятался в подъезде. Денежный запас мельчал, он перешел на пиво из пластиковых баклажек. Разнообразил досуг ежедневной чекушкой.

Как Женя ни скоблил себя в ванной, от кожи отчетливо пахло сырой землей. Мама недоумевала, проветривала квартиру, заглядывала под кровать в поисках источника смрада.

Как-то в парке Женя познакомился с компанией, его угостили водкой, смеялись: «Мужик лишь пиво заварил, а черт уже с ведром». Слово за слово, двинули к Жене в гости. Вернувшись с работы, мама обнаружила бесчувственного сына: его опоили клофелином, квартиру ограбили. Кое-что из тех-

ники мама нашла в ближайшем ломбарде, выкупила. Но летом Женя уже сам вынес компьютер и телевизор, мамины украшения, ковры. За сто пятьдесят рублей продал комнатную пальму.

В августе Руслан, штатный водитель «Альтаира», разбился на своем «жигуле».

Женя спал на лавочках, его били и грабили малолетки, он сам ограбил какого-то мужичка и схлопотал условный срок. Ночами мама рыдала за стенкой.

Он резал себя ножом, но не чувствовал боли. Копающимся в мусорных баках его застали Юли: девочки выбежали из суши-бара, окатили шокированными взглядами. Юля, с которой он целовался в прошлой жизни, прикрыла лицо ладошками и прошмыгнула мимо.

– Бедный человечек, – донеслось до ушей. Женя вынул из контейнера бутылку и вылил в рот пивную пену.

Троллейбус волочится заснеженным проспектом. Мигают гирлянды. Пассажиры, хорошенькая брюнетка и ее бойфренд, отклеились друг от друга, принюхиваются. Женя сидит в хвосте троллейбуса. Шапка набекрень, ватник в пятнах рвоты. Рука обмотана целлофановым пакетом.

– Фу, давай пересядем, – кривится брюнетка.

Они идут по салону, парень бросает брезгливо: «Какой-то черт». И Женя соглашается, шевелит пальцами, писклявым голосом одушевляет пакет:

– Чер-р-рт!

А бывает, Женя подходит к прохожим, присматривается, ищет таких же, как он. Понимает, что многие из двухсот сорока пали в уличных драках, загнулись от наркотиков, выхаркали легочную ткань на нарах, на койках больниц и ночлежек.

Но кто-то выжил, и по городу ходят рано постаревшие мужчины и женщины, с помятыми лицами, с запахом земли и перегара. С такими пустыми глазами, будто из них изъяли какую-то очень важную часть. Будто их души навек заточены в подвале, в закопченной бетонной избе. Глядят не мигая на сцену. И маленький Женечка там среди них.

В темноте.

Анатолий Уманский
Алая печать

1. Человек с алым знаком

Каин плеснул остаток шнапса в бокал и протянул мне:

– Выпейте, господин Соколов. Вы похожи на прибитую крысу.

Он не мог бы выразиться точнее. Одежда висела на мне мокрыми тряпками, кровь, натекшая из разбитой головы, пятнала лицо боевой раскраской.

На Паркштрассе, где редкие фонари с трудом разгоняли сырой сумрак, а уцелевшие после бомбежек дома-муравейники лепились друг к другу, удерживаемые от обрушения, надо думать, единственно молитвами своих обитателей, какой-то оборванец едва не раскроил мне череп обрезком трубы. С ним были еще двое, вооруженные ножами, и, хотя перед глазами у меня все плыло, а черты их лиц скрадывал полумрак, я все же разглядел на каждом из них грубо намалеванное подобие Каиновой печати – той самой, над феноменом которой ломали голову не только уголовники всех мастей и недобитые гитлеровские палачи, но, что пугало гораздо больше, и лучшие умы мира.

Той самой, что сейчас я видел на лице своего собеседника.

Она горела под линией серебристых волос – хитросплетение незаживающих разрезов, столь изощренное, что при долгом взгляде начинала кружиться голова.

– Это не слишком больно, если хотите знать, – заметил Каин, перехватив мой взгляд. – Саднит немного, но это невеликая плата за мои… возможности.

За стенами дома Шультеров гулял ветер, дребезжал оконными стеклами, свистел в дымоход, как в гигантскую флейту. Огонь потрескивал в камине, бросая на белые стены изломанные тени, содержимое бокала в протянутой руке играло янтарными отблесками. Старинные часы в углу сухо отбивали мгновения. С фотографии на стене улыбались Шультеры: высокий, сухопарый Эрнст в квадратных очках, его кругленькая супруга Марта и хорошенькая белокурая Габи, их дочка.

– Я буду пить только с разрешения хозяев, – заявил я, почти уверенный, что их давно нет в живых. Кроме Габи, разве что, но она наверняка бы предпочла умереть.

– На что вам разрешение? – снисходительно улыбнулся Каин. – Разве вы не победители?

Глядя в холодные голубые глаза человека с алой печатью, я сказал:

– Но не мародеры.

Содержимое бокала выплеснулось мне в лицо.

– Выбирайте выражения, господин офицер – как вас там

по званию? – промолвил Каин, зажигая сигару. – Иначе я не дам за вашу жизнь и ломаного пфеннига.

Глаза щипало. Смаргивая жгучую жидкость, я утерся кулаком. Обтесать им лицо с алой печатью во лбу было все равно невозможно.

Не считая печати и преждевременной седины, выглядел Каин вполне обыкновенно. Среднего роста, неплохо сложен, хоть и не атлет, черты лица капризно-надменные, льдисто-голубые глаза – не самое приятное лицо, но ничего демонического. Однако армии, сломавшие хребет нацизму, не могли остановить смертоносное веселье этого человека, и целые города трепетали перед ним.

Американцы допускали откровенно сверхъестественные толкования, вплоть до того, что Каин послан свыше покарать немецкую нацию за ее преступления; иные даже заявляли, что не стоит ему мешать. Сами немцы вспоминали легенду о Бальдре, благом скандинавском божестве, которому ничто на свете не могло причинить вреда, кроме ветви омелы; но если то и был Бальдр, на землю он вернулся в прескверном настроении. У нас говорили, будто алый знак – психологическое оружие, разработанное фашистскими учеными, что не объясняло, однако, невосприимчивость его носителя к огню, взрывчатке и прочим неодушевленным угрозам.

В одном сходились все: кто бы ни поставил печать на лоб этого человека, к Господу Всеблагому он иметь отношения не мог.

– Как вы меня нашли? – спросил Каин.

– Я не искал вас. На меня напали, тут, неподалеку. Я немного знаком с хозяевами и рассчитывал получить у них помощь. Вас я встретить никак не ожидал.

…Весной, когда наш взвод остановился у Шультеров, хозяева спрятали Габи от «русских варваров» в винном погребе, но мы обнаружили их сокровище и вытащили на свет божий. Она бешено лягалась, сверкая подвязками, и визжала: «Nein, nein!», а ее мамаша металась вокруг, норовя выцарапать нам глаза.

– Ай-яй-яй, – покачал головою Каин, – a terrible age and terrible hearts.[1] Да, я знаком с вашей литературой, хотя на русском она, должно быть, звучит лучше, чем на английском, – добавил он, заметив мое удивление. – Я образованный человек, господин Соколов. Если на то пошло, мои познания простираются намного дальше, чем вы можете себе представить.

– У вас ведь есть имя?

– Вернер, – ответил он, – Алан Вернер, никакой к черту не Каин. Как видите, я с вами честен, чего не скажешь о вас.

– Прошу прощения?

Он подошел к окну и отдернул штору. У ограды, под проливным дождем, стоял человек в форме без опознавательных знаков. Русые волосы облепили непокрытую голову молчаливой фигуры, с вислых усов струилась вода.

---

[1] Ужасный век, ужасные сердца (*англ.*).

– Так, значит, вы решили зайти к знакомым. А приятель ваш, очевидно, застеснялся и предпочел вымокнуть.

– Я один. Понятия не имею, кто это.

Каин-Вернер милостиво кивнул и опустился в кресло напротив, водрузив ноги на кофейный столик. А ведь за этим столиком мы со старшиной Жаровым в карты резались, снова некстати вспомнилось мне. Старшина, даром что грудь в орденах, бессовестно мухлевал.

– Бр-р, ну и выдержка. – Вернер зябко передернул плечами, косясь в окно. – Надо будет выйти и пристрелить этого стойкого оловянного солдатика, когда лить перестанет.

– Где девушка?

– Дейчес паненка, руссиш камрад? – осклабился он. – Все-таки вы оказались здесь не случайно.

– Вас это не касается, Вернер. Что вы с ней сделали?

– Что сделал? – Он выдохнул струю дыма в потолок. – Да ничего такого, что не хотели бы сделать вы.

Тогда, весной, я действительно многое хотел бы сделать с Габи… при условии, что она сама хотела бы того же. Я вспомнил, как она разревелась, поняв наконец, что ее не обидят, как мать прижимала ее к груди, сама голося белугой, как Эрнст, жалкий, взъерошенный, потерявший где-то очки, смотрел на нас, подслеповато моргая. Старшина Жаров бросил снисходительно: «Эх, вы! А еще высшая раса». А к вечеру я уже учил Габи петь «Катюшу», играя на аккордеоне, и она смешно коверкала слова. И когда мы уходили, она

подбежала, краснея, и чмокнула меня в уголок рта, и губы у нее были такие теплые, такие беззащитно-мягкие, что я устыдился своей колючей щетины…

– Что вы так на меня смотрите? – вторгся в мои мысли насмешливый голос Вернера. – В былые времена вельможа мог овладеть любой женщиной просто потому, что мог. Вот и я это делаю потому, что могу. И мой народ делал с вашим все, что хотел, по этой же самой причине…

– Времена изменились.

Он расхохотался мне в лицо – звонко, по-мальчишески.

– Она жива, если для вас это главное, – произнес он, отсмеявшись.

– Я хотел бы убедиться, – сказал я.

– Отчего бы и нет? – Вернер лукаво подмигнул. – Но сперва, – он задумчиво взглянул на пустую бутылку, – надо пополнить запасы. У нас с вами впереди долгий вечер.

Впервые о нем услышали на Западном фронте, в последние дни войны. Трое ирландцев – сержант О'Лири, капрал Уолш и рядовой Дуглас – увидели, как некто, одетый в штатское, бредет мимо их окопа – среди рвущихся снарядов, сквозь дым и огонь. Сержант крикнул: «Стой, кто идет!», и

незнакомец обратил в их сторону усталое лицо с алой печатью, горевшей во лбу, словно третий глаз.

О'Лири, не боявшийся ни бога ни черта, вскинул свой окопный «ремингтон», собираясь разнести вдребезги голову с алым знаком, передернул цевье. В отсветах пожарищ алая печать засияла ярче, отличная мишень, стреляй – не хочу… да только О'Лири вдруг понял, что действительно не хочет, хуже того – не может физически.

«Немыслимо! – говорил он потом на суде. – Это было… как в самого Спасителя выстрелить! Как… выколоть глаза собственной матери… как бросить в огонь ребенка…»

Незнакомец приблизился, легко, будто пугач у мальчишки, вырвал дробовик из ослабевших рук сержанта и ударом приклада раздробил ему челюсть.

О'Лири сполз на дно окопа, захлебываясь кровью. Уолш, решивший, что в «ремингтоне» перекосило патрон, поднял карабин, но тотчас опустил, охваченный тем же необъяснимым бессилием. В следующее мгновение заряд картечи разворотил капралу живот – с дробовиком все точно было в порядке. Дуглас в панике выскочил из окопа и угодил под шальной снаряд, разметавший куски его тела по горящей земле.

Сержанта обнаружили лежащим без чувств в обнимку с дробовиком. Военно-полевой суд пришел к выводу, что О'Лири сам напал на товарищей в припадке безумия, вызванного тяготами сражений. С головой у него и впрямь сделалось совсем плохо, что только и спасло беднягу от законов

военного времени.

– И сказал Господь, – бормотал на суде О'Лири, возводя лихорадочные очи горе, – за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его…

Появление человека с алой печатью стало лишь началом в череде необъяснимых, поистине апокалиптических явлений, обрушившихся на разоренные войной земли Германии.

На переправе через Эльбу волны вдруг вспенились, выбросив огромные, будто из дубовых корней свитые щупальца, усеянные кратерами мясистых присосок. Они в щепки разнесли один из мостов и снова скрылись в глубине, унося с собою кричащих людей. На позиции англичан обрушился кровавый ливень; когда солнце выглянуло из-за туч, кровь задымилась, источая зловоние. Несколько французских солдат без вести пропали в горах, и командиры божились, что незадолго до этого какие-то крылатые существа весь вечер летали над лесом, издавая невыносимые для ушей жужжание и стрекот.

Там же, в горах, в скором времени объявился и человек с алой печатью. Приходя в деревушки, он жонглировал осиными гнездами, крутил за хвосты гадюк, которые шипели и корчились, не смея пустить в ход клыки, разводил костер и погружал руки в огонь. Немцам, однако, той весною было не до забав, да и еды не хватало. Старики (а из мужчин дома оставались по большому счету только они) призывали гнать

его камнями да палками; но, как доходило до дела, камни и палки выпадали из ослабевших рук.

Вскоре он начал сам брать все, что пожелает. Союзные войска, к которым отчаявшиеся немцы обращались за защитой, беспомощно разводили руками: никто не мог задержать его, даже плюнуть в его сторону было невозможно. Спускали собак, но и самые свирепые псы стелились перед ним на брюхе, жалобно скуля и поджимая хвосты. Хулиган с алым знаком обносил склады с продовольствием, заходил в кабачок и угощался за счет заведения, бил стекла и мочился где попало, смеясь над бессильными попытками его остановить.

Саботаж, постановило командование, и никакие чудища речные тут ни при чем. Кровавые дожди льют из-за примесей красной глины в воде. Французский отряд печально славен тем, что при взятии населенных пунктов уделяет больше внимания кабакам и Fräulein, нежели дисциплине. А что до странного фигляра, который, конечно, никаким боком не причастен к бойне, учиненной сержантом О'Лири, то всякий крутится как умеет, особенно во время войны.

Другими словами, союзники применили против загадочных явлений многократно обкатанную военную тактику, особо популярную среди африканских страусов: зарыться головой в песок, сделав вид, будто ничего особенного не происходит.

2. Наблюдатели под дождем

– Вам знакомо имя Евы Дитрих? – осведомился Вернер у двери погреба.

Я посмотрел на него с удивлением:

– Ведьма Аушвица? Вы знали ее?

– Очень близко, – произнес он так, будто знакомство с одной из самых ужасных женщин в истории делало ему честь. – Чертовски близко.

– Это она вам оставила?..

– И да и нет, – молвил он. – И да и нет.

– И вы знаете, где ее найти?

– Закатайте губу, господин Соколов, – с неожиданной злостью ответил он. – Или лучше называть вас товарищем?

– Я не товарищ вам, Вернер.

– А вы мне не господин. Это я сейчас господин вашей жизни. Что до Евы, то вы никогда ее не найдете. – Яростно рванув засов, Вернер отворил дверь – и я отпрянул, сраженный вырвавшейся наружу тяжелой волною смрада.

Вспышка молнии залила окошко под потолком. В дрожащем свете я увидел шевелящееся серое море – стая огромных крыс терзала два тела в кровавом тряпье. Хозяйку я опознал лишь по длинным, с проседью волосам, облепившим разбитый череп. Во вспоротом животе Эрнста Шультера что-то беспрестанно вспучивалось и перекатывалось; на мгнове-

ние мне пришла в голову безумная мысль, что внутренности рвутся прочь из его мертвого тела, и лишь потом я понял, что мерзкие твари свили внутри гнездо. Из могучего деревянного бруса, подпиравшего своды потолка, торчал садовый секач, заляпанный до самой рукояти бурыми пятнами.

Снаружи гулко ударил гром – аж стены затряслись.

Вернер вошел в погреб. Крысы вились у его ног, верещали, когда он наступал на хвосты, взвизгивали, когда его каблуки ломали их серые спины… но кусать, разумеется, не смели.

Насвистывая «Ah, du lieber Augustin», Вернер перешагнул через голые ноги Марты, местами обглоданные до костей, и достал из ниши в стене очередную бутылку.

– Вы должны простить их за deshabille, – сказал он. – У них совсем не было времени приодеться.

Я схватился за рукоять секача и дернул что было силы. Древесина затрещала, выпуская окровавленную сталь.

– Вы действительно такой болван или решили наняться ко мне в оруженосцы? – осведомился Вернер не оборачиваясь. – А впрочем, и правда, захватите его с собой.

А если захлопнуть дверь перед носом Вернера, запереть его здесь, в смрадной темноте с крысами?

Эта мысль обдала меня волной сверхъестественного, кощунственного ужаса.

Он благополучно вышел из погреба и захлопнул дверь.

– Вы все еще хотите увидеть спящую красавицу?

В девичьей спаленке витали другие запахи: разгоряченной плоти, мочи и пота. Серый свет, струившийся сквозь оконный переплет, расчерчивал нагое тело Габи на квадраты. Ее высокую грудь пятнали кровоподтеки и полукружия укусов, щиколотки и запястья, прихваченные веревками к спинкам кровати, были растерты до мяса, разбитые губы спеклись. Меж разведенных бедер был пристроен плюшевый мишка с одним ухом.

– У, бесстыдник! – Взяв медвежонка за шею, Вернер кинул его на пол и осторожно накрыл ладонью пушистый холмик между ног девушки. Габи жалобно застонала во сне. Воображение нарисовало мне, как она содрогается под толчками насильника, как лежит потом в темноте, глотая бессильные слезы… Пальцы сильнее стиснули рукоять бесполезного секача. Я не смог бы ничего сделать, даже если бы перед Вернером лежала моя сестра или мать.

Но говорить я мог и высказал все, что думал о нем, в самых крепких русских и немецких выражениях.

– Sticks and stones may break my bones, – ответил Вернер, орудуя пальцами, – but words will never hurt me… and sticks and stones, too.[2]

– Отпустите ее. Или, клянусь, я все-таки найду способ вас убить.

Он вогнал пальцы глубже. Глаза Габи распахнулись –

---

[2] Камни и трости раздробят мои кости, но слова никогда не ранят меня. Как и камни с тростями.

огромные, полные боли и ужаса. Она закричала, забилась на постели, выгибаясь всем телом и мотая головой по подушке.

– Перестаньте, Вернер!

И он, представьте себе, действительно перестал. Его пальцы выскользнули из истерзанного лона девушки – и сжались в кулак, и кулак этот влепился с размаху мне в лицо. Что-то звонко лопнуло в голове, перед глазами полыхнула вспышка, алая, как знак во лбу у Вернера. Я даже не почувствовал, как он вырвал у меня из руки оружие, но услышал его слова:

– …А вот так бывает, когда меня пытаются обдурить…

Изогнутый обух секача врезался мне под дых. Я согнулся пополам, хватая ртом воздух. В следующее мгновение обух угодил мне в челюсть, запрокинув голову назад. В глазах опять сверкнуло, рот наполнился кровью, и я рухнул навзничь. Даже сквозь звон в ушах до меня доносились крики Габи. Повернув голову, я встретился взглядом с плюшевым мишкой, таращившим глаза-пуговки, будто испуганный ребенок.

Я поднялся на ноги, чтобы увидеть, как Вернер с размаху ударил Габи секачом. Лезвие вонзилось ей в гортань, отсекая крик. Глаза девушки закатились, кровь хлынула изо рта потоком, обагряя белокурые волосы. Нагое тело содрогнулось в последний раз, натянув веревки. Со вторым ударом секач перерубил позвонки и застрял в пружинах матраса.

(…Кровь льет из груди, промочила, зараза, всю гимнастерку. Достали-таки фрицы поганые, угораздило же высу-

нуться! Старшина Жаров железной рукою зажимает мне рану – все равно хлещет.

«Ты у меня, Соколов, только попробуй кони двинуть, слышишь? Не закрывай глаза, твою в бога душу мать да с переподвывертом!»

Берлин в огне, над крышами зарево. Огонь у меня в груди, выжигает воздух – не продохнуть. Кругом гремит, свистит и трещит, в голове трещит, свистит и гремит, голос командира едва пробивается: «Глаза не закрывай, кому го…»

Тьма… кромешная тьма… и что-то во тьме, что-то чернее тьмы, у него черные крылья, белые клыки и острые когти… я – это оно, а оно – это я… огненные глаза…)

…Глаза Вернера, ледяное пламя безумия. Свободной рукой он сгреб меня за грудки и отшвырнул к окну. Стекло разлетелось вдребезги, промозглый ветер с ликующим свистом ворвался в комнату, окутав меня занавесками. Я вцепился в оконную раму, чтобы не упасть, располосовав пальцы торчащими осколками.

Внизу к одинокой фигуре под дождем присоединились еще четыре. Они стояли, устремив на дом бледные, будто из воска вылепленные лица.

Вернер выдернул секач, взметнув веер кровавых брызг. Другой рукой он сдернул отрубленную голову с подушки за волосы и швырнул в окно. Она покатилась по грязи, путаясь в волосах, и остановилась у ног безмолвных соглядатаев.

Ни один не дрогнул, не вскрикнул, не тронулся с места.

Тот, что стоял впереди, спокойно наклонился, подобрал голову и долго изучал неподвижное, заляпанное кровью и грязью лицо.

Секач взлетел над моей головой… и замер в верхней точке замаха.

– Черт побери, – севшим голосом пробормотал Вернер.

С трудом отведя глаза от окровавленной стали, я проследил за его взглядом и увидел, как незнакомец во дворе зубами вырывает из мертвого рта Габи язык.

…Всерьез заговорили о нем после происшествия в Альтендорфе, деревушке, где заправляли янки. Они и пальцем не пошевелили, когда человек с алым знаком занял дом булочника Люца, выставил хозяев на улицу и завалился спать. Американский полковник заявил, что, коль скоро немцы посягали на чужие земли, им не помешает отведать собственного лекарства.

Тогда отчаявшиеся жители решили взять дело в свои руки.

Несмотря на протесты Люцев, во дворе собралась разъяренная толпа. Несколько бутылок с зажигательной смесью влетели в окна и разорвались на полу. К тому времени как

подоспел отряд военной полиции, дом превратился в огненный шар. Но из пламени с револьвером в руке вышел человек с алым знаком, и даже одежда на нем не дымилась. Американцы уверяли, что пламя расступалось перед ним, будто в страхе.

– Это сам дьявол! – закричала какая-то женщина. Сшибая друг друга с ног, люди бросились врассыпную, многих затоптали насмерть.

Утренний рассвет озарил тела, распластанные у пепелища: никто не смел подойти и забрать их. Перепуганные жители набились в кирху, молясь об избавлении от «антихриста». В самый разгар службы дверь распахнулась и в храм влетел запыхавшийся мальчишка Люцев, Вилли:

– Тот человек, ну, который с печатью! Он гуляет по минному полю!

– Подорвись он к дьяволу! – вскричал преподобный Шухт. – Прости меня, Господи, – тут же добавил он, услышав шокированные возгласы прихожан, и молитвенно сложил руки.

– Да в том-то все и дело! – замотал головою Вилли. – Он наступает на мину, а она не рвется, покуда он не сойдет! А земля с осколками облетают его по этой, как ее… – он умолк, вспоминая умное словечко из школьной программы, – по па-ра-бо-ле, вот!

Кирху огласили испуганные крики. Кто кричал, что надо бежать из деревни, кто молился, преподобный пытался всех

успокоить, и никто не заметил, как человек с алым знаком возник на пороге, бережно, как младенца, прижимая к груди ребристый цилиндр.

– Боженька ваш на небе, – объявил он перепуганным людям, – а я здесь, рядом, и в руках у меня отличная противопехотная мина американского производства с выдернутой чекой. Это значит, что у вас нет сейчас иного бога, кроме меня.

Он заставил прихожан целовать ему ноги.

Он велел всем – детям, женщинам и старикам, включая Шухта, – раздеться донага и отплясывать веселую польку.

Он велел Шухту, который задыхался, тряся объемистым животом, выкрикивать богохульства.

– Убирайся к дьяволу! – просипел преподобный, хватаясь за кафедру.

– Кто не хочет положить жизнь за веру, – провозгласил человек с алым знаком, – тот возьми распятие да всади святому отцу туда, куда не заглядывает солнце!

Тотчас большинство прихожан кинулись исполнять эту веселую задумку. Немногие встали у них на пути. Нагие, взмокшие, обезумевшие от ужаса, люди били и рвали друг друга ногтями и зубами, точно зверье. Их мучитель засмеялся и грохнул мину об пол.

В замкнутом пространстве нефа взрыв прогремел с утроенной силой, вдребезги разнеся витражи и перемешав человеческую плоть с камнем и деревом. Многих опознать так и

не удалось. Человек с алой печатью в клубах дыма вышел на улицу и отсалютовал рукой пораженным американцам, которые ждали его у церкви с оружием в руках.

В тот день они немедленно расступились, пропуская его, но с этого момента на человека с алым знаком была объявлена охота, сколь упорная, столь и безнадежная. Уходя от докучливых преследователей, он всегда отмечался кровью.

В Мюльхайме он жестоко изнасиловал уличную проститутку, отказавшуюся обслужить его задарма, и облил ей лицо кислотой. В Дюссельдорфе застрелил двух полицейских. В одном из старинных кварталов Мюнхена устроил пожар, унесший полдюжины жизней.

А потом он пересек восточную границу.

– Я был к вам несправедлив, – молвил Вернер. Он стоял у окна гостиной, судорожно вцепившись в рукоять секача. – Это снова та дрянь, что следует за мной по пятам. Знаете, кровавые дожди, таинственные существа… Видно, знак их мой притягивает. – Он развернулся и хватил секачом по столику. – Bloody hell! Я был совершенно уверен, что вы привели слежку.

– Не нужно мне ваших извинений, – сказал я, держась за

разбитую челюсть. Во рту до сих пор стоял железный привкус. – Будьте вы прокляты.

– Я уже проклят, как видите, – спокойно отозвался он.

Огонь трещал в очаге, дождь барабанил в окно, размывая застывшие за ним безмолвные силуэты. К тому времени, как Вернер помог мне спуститься в гостиную и усадил в кресло, число их удвоилось.

– Во всяком случае, мне они не грозят, – проговорил он, но впервые в его голосе прозвучало сомнение. – А вот вам я бы не посоветовал сейчас выходить во двор. Как бы ни был я вам неприятен, придется потерпеть мое общество до утра.

– Неприятен? – сказал я. – Вы самая паскудная тварь из всех, что я видел, а я видел немало, и обещаю: вы за все заплатите. А теперь можете докончить начатое.

– На чем мы остановились? – проговорил он, будто не слышал. – На докторе Дитрих, точно. Хотя началось все задолго до нее…

3. Рассказ Вернера

– Вот что я помню лучше всего: я, трехлетний карапуз, стою, ковыряю пальцем в носу и гляжу, как мой папаша на веревке ногами сучит, а меж них на штанах пятно расползается, а мамаша воет и волосы на себе рвет. Он скотина был, мой папаша, но что еще хуже – он жил в штате Массачусетс, том самом богоспасенном штате Массачусетс, где в семна-

дцатом веке процветала охота на ведьм, а в Первую мировую начали охотиться на этнических немцев. Разве только ведьм, во всяком случае, худо-бедно судили. И что самое поучительное: с этими, которые вздернули отца на буковой ветке, хорошенько перед тем отметелив ногами и дубинками, он месяцем раньше сидел в обнимку у нас на крыльце, хлеща «Будвайзер» и горланя «The Star-Spangled Banner» [3].

Пальцы Вернера сжались, переламывая сигару.

– Что потом? Учеба, учеба, учеба. Матушка, мир ее праху, считала, что я обязан поставить мир на колени. Интересно, была бы она сейчас довольна? Никаких друзей (не больно-то и хотелось), никаких девчонок (а вот это уже скверно). Стипендия университета Мискатоник в Аркхеме. Вам, русским, конечно, ни о чем не говорят эти названия!

Тут он пустился в пространные рассуждения о зловещей славе Аркхема как оплота зла и чернокнижия, о запретных фолиантах в библиотеке Мискатоникского университета, куда он имел доступ – «De Vermis Mysteriis», «Книге Эйбона», уцелевшей в виде разрозненных отрывков, и печально известном «Некрономиконе», сочинении чокнутого араба по имени Альхазред. Я не слушал. Под сводами черепа клубился мрак, в котором растворялись мысли, чувства, воспоминания Соколова. В этом мраке таилось нечто черное, древнее. Оно знало гораздо больше, чем мог поведать Вернер, чем вообще может знать человек, и посмеивалось, ожидая

---

[3] «*Знамя, усыпанное звёздами*» – государственный гимн США.

возможности выйти на свет…

– …Отучился несколько лет, если пьянство и блуд можно назвать учебой, пока не выперли…

У меня вдруг прорезался голос:

– За попытку выкрасть «Некрономикон»?

– Нет, – ответил Вернер, – за пьянство и блуд. На что веселому студенту «Некрономикон»? Я похитил лишь честь Ребекки Энсли, единственной дочки декана Энсли, столпа морали, поборника сухого закона, главы местного Общества трезвости… Представляете масштаб катастрофы? Удивительно, как эдакий сухарь вырастил такую душечку: не красавицу, но бойкую и любознательную, чем я и воспользовался. Когда растущий животик выдал бедную Бекку с головой, я честно предложил себя Энсли в зятья, углядев шанс войти в высшее общество. «Раз вы так благородны, – изрек старый ханжа, – содержите ее сами».

Я не был так благороден. Эта пиявочка цеплялась за мои ноги, умоляла не бросать, но я был непоколебим. Жалкое существо! Бледная, зареванная, под носом сопля…

– Что же с нею стало? – спросил я.

– Сиганула с моста в реку Мискатоник. Куда ей было податься?

– Что вы тогда почувствовали? – Ответ на этот вопрос занимал меня больше, чем печать на челе Вернера.

– Что пора попытать удачу на исторической родине, – буркнул тот. – У Энсли наверняка имелись обширные связи,

а насколько янки обидчивы, я усвоил на отцовском примере.

– И вам совсем не было ее жаль?

– С чего мне ее жалеть? – окрысился Вернер. – Для таких, как она, нищий немчик вроде меня был букашкой. И уж точно не моя вина, что доктору Энсли сословная спесь оказалась дороже дочки. А букашкой я быть не хотел, – добавил он уже спокойнее. – Как и миллионы моих соплеменников. Во что это вылилось, вам ли не знать? Впрочем, тут мне виниться не за что. Отчизна приняла меня неласково.

Он задрал рукав, и я увидел номер, набитый на его волосатом запястье.

– Увлечение Гитлера оккультизмом было хорошо известно, и я рассчитывал сделать карьеру на репутации своей alma mater. Только оказалось, что птенцам Мискатоника в Рейхе скручивают шею – уж больно кощунственных идей мы могли нахвататься. В «Некрономиконе», к примеру, на более чем девятистах страницах убедительно доказывается, что высшая раса – отнюдь не немцы. Мне еще повезло, всевозможных культистов уничтожали на месте.

В аду, однако, вполне можно сносно устроиться. Я стал капо, надсмотрщиком. У меня было курево, у меня были женщины, питался я едва ли не лучше, чем в студенчестве, а уж с совестью всегда легче договориться, чем с людьми. В глазах других узников я был крысой, но это их на куски рвали овчарки, это они черным дымом валили из труб крематория, а плетка была в моих руках. Что постыдного в работе пастуха?

Так я жил несколько лет, а потом мне стала являться во снах Ребекка Энсли, вышедшая из реки, ужасная в своей бледной наготе; смотрела мутными глазами сквозь облепленные тиной волосы, тянула обвиняющую руку, а изо рта вместо слов хлестала вода. Я бросался прочь, в любой момент ожидая, что холодные мокрые пальцы схватят меня за шею, и вдруг оказывался в огромном, усыпанном костями подземелье, посреди которого высился бесформенный, заляпанный кровью алтарь. И за этим алтарем стояла угольно-черная фигура, сотворяющая перстом в воздухе некий огненный символ, тот, что вы видите сейчас на моем лице.

Что странно, наяву никаких угрызений совести из-за Бекки я по-прежнему не испытывал. Но соседей своими воплями донял изрядно, и лагерное начальство отправило меня к доктору Еве Дитрих, дабы она немножко вправила мне мозги.

В Аушвице хватало извергов в белых халатах, но в мозгах шарила только Ева, пардон за каламбур. Ее исследования человеческого разума привлекли внимание самого Гиммлера, предоставившего ей полную свободу действий. Я один из немногих узников, попавших к Аушвицкой ведьме не как

«человеческий материал», а как пациент, и единственный, в чьей черепушке она не покопалась своими умелыми пальчиками. Хотя она умела делать ими еще очень многое. В свои тридцать шесть Ева была недурна собой, но эсэсовцы боялись ее, даром что сами вытворяли и не такое, причем отнюдь не из научного интереса. Умная женщина со скальпелем всегда кажется опаснее просто умной женщины.

Доктор Дитрих расспрашивала меня о детстве, о временах учебы, проявляя особый интерес к запретным книгам, из-за которых я и очутился в этом аду. Попросила нарисовать знак из снов, хоть приблизительно. При виде моих каракулей лицо у нее стало как у девочки, которой отец подарил лошадку. Затем она велела мне раздеться и приступила к осмотру.

Пока она меня щупала да простукивала, задерживая руку в местах, какие к мозгам имеют слабое отношение, я спросил: не боится ли она спрашивать про запретные книги, раз я загремел сюда лишь за то, что у меня была возможность читать их. Она сказала мне то же, что и вы: «Времена изменились».

Я сразу смекнул, что она томится одиночеством – по блеску в глазах, по тому, как участилось ее дыхание, как она раскраснелась, касаясь меня. Благо я был арийцем, в отличие от своего стада хорошо питался и был недурно сложен.

Сильную женщину берут нахрапом, и я сказал:

– К черту, все останется между нами.

Сгреб в охапку и рот заткнул поцелуем.

Она замычала, цапнула рукой скальпель и, кабы я сдал назад, точно всадила бы его мне в глаз и позвала охрану.

Но я не сдал, и скальпель зазвенел по полу…

Той ночью я не видел снов, а наутро меня снова отвели к доктору Дитрих. Конвоир был на удивление обходителен, хоть и посмеивался гаденько: смекнул, скотина, что к чему.

У Евы под глазами темнели круги, волосы висели спутанными прядями. Увидев заваленный книгами стол, я понял, что она корпела над ними всю ночь.

– Черный Человек, – сказала она, – это воплощенное чувство вины, терзающее натуры с богатым воображением. Видел его отягченный долгами Моцарт; Чайковский, стыдившийся своих склонностей, на смертном одре утверждал, что к нему в окна заглядывает какой-то «черный офицер»; русский поэт Есенин, дебошир и пьяница, посвятил ему поэму.

Я возразил, что натура у меня ни разу не поэтическая и что по жизни я иду не оглядываясь. Она ответила, что все, соприкоснувшиеся с запретными книгами в Мискатонике, неизбежно привлекали внимание связанных с ними сил. В этих книгах Черный Человек описан как Ньярлатхотеп, тысячеликий посланец Иных Богов, воплощение Хаоса, который явится в мир, охваченный чувством неизбывной вины, чтобы стереть его в пыль. Алый символ – это печать его повелителя, Султана демонов Азатота, что дремлет в ядре Вселенной, убаюканный звуками демонических флейт. В «Некрономиконе» Альхазред уверял, что печать эта дарует

своему носителю защиту от всякой угрозы, живой или неживой, но ни один земной правитель не осмелится прибегнуть к этой защите, ибо тайна ее сокрыта где-то в песках Аравийской пустыни, охраняемая сонмами адских созданий.

– Но зачем Черному Человеку показывать ее мне? – удивился я.

– Я думаю, он хочет, чтобы ты подарил ее немцам, – сказала Ева. – То, что мы делаем, – она обвела рукою ряды хирургических столов с разложенными на них жуткими инструментами, – угодно ему. Разве это не Хаос? Возможно, тебе суждено стать спасителем своего народа, Алан Вернер. НАМ суждено, – добавила она с уже знакомым мне бесстыдным блеском в глазах и привлекла меня к себе.

Оказывается, пока я тут куковал, дела стали совсем плохи. Только дураки да фанатики не понимали, что без чуда Тысячелетний Рейх кончится как-то уж слишком быстро. Чуда искали везде, не чураясь уже и запретных книг, потому как ни Святой Грааль, ни Ковчег Завета, ни Шамбала ничем не могли помочь.

Я решил, что лучше буду патриотом, чем идиотом, и помогу родине выгрести из дерьма, куда ее загнал бесноватый фюрер. В сравнении с ним безумный араб казался воплощением здравомыслия.

Из надсмотрщика меня повысили до помощника (и любовника) лагерного врача. На мне лежала обязанность вскрывать черепа, причем пациенты, увы, были не только

живы, но и в сознании, и лишь деревяшка у них в зубах защищала наши уши от их страдальческих криков. Отложив пилу, я снимал крышку черепа, и Ева бралась за скальпель. Лезвие сверкало в ее руках, иссекая дрожащую губчатую оболочку чужих мечтаний, надежд, снов. Неважно, лежала перед нею женщина или ребенок, лицо Евы оставалось бесстрастным, а взгляд проникал в сокровенные глубины, подмечая каждое содроганье.

Когда жизнь окончательно покидала подопытных, наступало наше время. Иногда я брал Еву на свободном столе, среди остывающих тел наших жертв, которые равнодушно таращили глаза в потолок: занимайтесь, мол, чем хотите, нам на вас и смотреть тошно! Чаще она ублажала меня ртом или ласкала рукой в скользкой от крови и слизи перчатке, пока я не изливался на пол, и без того чем только не заляпанный… Вы простите мне мою откровенность?

Я был бы вполне счастлив, кабы не проклятая Азатотова печать. Ева талдычила о ней даже во время страсти, кроме как, когда я был у нее во рту.

Существа, описанные в запретных книгах, говорила она, нельзя подчинить: они неизменно будут преследовать свой интерес, и победа, одержанная с их помощью, обернется кошмаром. Но Азатотова печать – лишь оберег, который защитит любого, отмеченного им. Вообрази, говорила она, что будет, если самый никчемный солдат избавится от страха смерти! Вообрази хотя бы сотню таких солдат!

Меня смущали «адские полчища», упомянутые Альхазредом; Ева уверяла, что за прошедшее тысячелетие эти создания, кем бы они ни были, наверняка вымерли. Я заметил, что враги тоже не дураки и рано или поздно воссоздадут печать; пусть, улыбнулась Ева, что плохого в том, что люди прекратят убивать друг друга?

– Кого же ты тогда будешь резать? – спросил я, представив этот дивный новый мир, и она ответила со смехом:

– Вернусь к обезьянам!

Она в душе была почище вас коммунистка, моя Ева, верите или нет.

Гиммлер затею воспринял без особого воодушевления. Египет мы потеряли, снарядить полноценную экспедицию было невозможно. Он благословил Еву действовать на свое усмотрение, чем она и занялась.

…В апреле 1944-го Ева Дитрих, словно ангел, вывела меня из ада. Собственная одежда сидела на мне криво, будто с чужого плеча; я готов был вбирать щебет птиц, звон ручьев, аромат сырой земли, упасть на эту землю, полную зарождающейся жизни, и целовать ее только за то, что она за колючей проволокой…

– Ребекка Энсли тоже была полна зарождающейся жизни, – заметил я, – но с ней вы не были так сентиментальны.

– Что вам Ребекка, что вы Ребекке? – сказал Вернер. – Я душу изливаю, а вы зубоскалите. Хам.

…Свобода продлилась недолго: вскоре мы добровольно замуровались в пыльном спецхране Национальной библиотеки Парижа вместе с чудом уцелевшим латинским переводом «Некрономикона». Знатоков, что могли бы направлять нас, в Европе не осталось; кто не сбежал – сгинули, так что на сбор сведений об Азатотовой печати ушло все лето и, надо полагать, галлоны кофе, а на близость не осталось и минутки. Старина Альхазред не стремился облегчить задачу своему читателю: чем больший трепет вызывало в нем явление (а печать им почиталась за едва ли не самую кощунственную вещь в мире), тем туманнее он изъяснялся, перемежая текст возгласами «Йа! Йа!», будто взбесившийся ишак, так что лишь нечеловеческая усидчивость Евы помогала нам продираться сквозь бесконечные восславления древних богов и чисто арабское словоблудие. Засыпали мы в обнимку не друг с дружкой, а с этим мерзостным томом, прикорнув головой на очередном описании запредельных ужасов, пока город уплывал из рук Гитлера. Последние выписки мы делали под грохот канонады и франко-немецкую ругань.

…Не стану рассказывать, как мы добрались до Африканского континента и прибыли в Хургаду под именем Джейн и Эдгара Уоллес, археологов из Массачусетса. Ева, всю жизнь прожившая в Германии, английским владела лучше меня, так что я больше помалкивал, а все же нам недурно удалось отыграть ученую супружескую пару. Моя ведьма славно смотрелась в мужской рубахе и штанах, облегавших ее ладный задок, – но это так, к слову.

На восточном базаре, где пустыня вплотную подступала к городским окраинам, мы приобрели пару верблюдов. Проводников брать не стали: не то дело, да и не согласился бы никто. Среди феллахов посейчас ходят жуткие байки об этих песках.

Холодными вечерами в пустыне мы занимались любовью у потрескивающего костра, а после беседовали о всяком-разном, и скажу вам, то были лучшие мгновения в моей паршивой жизни. Как и я, Ева потеряла отца – лягушатники уложили его под Альбером. Она говорила об этом с такой горечью, что я понял: ее слова о мире, в котором люди не убивают друг друга, – отнюдь не лукавство. Как многие чудовища в человеческом обличье (я не стану отрицать, что ее иначе не назовешь), Ева была сентиментальна. На руках у нее

остались две сестрички, о которых приходилось заботиться, и послушали б вы, как она рассказывала о их проказах! Эти девчонки заочно стали мне как родные. А ведь их старшая сестрица пластала детей другой расы скальпелем, будто лягушек.

Когда она засыпала, я любовался ее мирным лицом, слушал, как она мило сопит во сне, и думал, отчего же мы все так чудно устроены. А потом закрывал глаза, и виделся мне Черный Человек: он стоял посреди пустыни, устремив горящий взор к звездам, и два огромных льва ластились к нему.

Солнце огненным шаром поднималось из-за дюн, и мы, наскоро подкрепившись, трогались в путь, таща на поводу навьюченных верблюдов. Проклятые зверюги, будто что-то предчувствуя, постоянно артачились – один чуть было не откусил мне пару пальцев. Все дальше углублялись мы в выжженное сердце этой безликой земли, утопая ногами в песке, и со временем мне начало казаться, что наше путешествие никогда не закончится.

Вскоре пустыня стала радовать нас миражами. Из желтого марева всплывали силуэты древних городов, устремляя в небо башенки, увитые цветами и зеленью; заснеженные хребты вырастали вдруг из песков, и что-то черное, бесформенное, многоглазое бурлило на их отрогах; раскидывались каменистые пустоши, усеянные костями, под которыми перекатывались тулова чудовищных червей…

Не те ли же картины открывались воспаленному взору

безумца-араба, в одиночку скитавшегося по этим пескам? Или наша фантазия сама рисовала их, разгоряченная его откровениями и зноем? Стоило нам, преодолев трепет, двинуться дальше, как образы таяли в дрожащей дымке, но сколь никчемной, сколь сиюминутной казалась наша цель после этих соприкосновений с вечностью! Пустыня дремала под саваном песков, нашептывавших нам дивные тайны, а в далекой Германии вьюга заметала пылающие руины, и в глухом своем бункере дрожал смешной человечек, уже не надеявшийся на нас.

Потом… стало хуже. Куда как хуже. Припасы подходили к концу, приходилось обходиться несколькими глотками воды в день. Солнце дубило кожу, белый зной опалял глаза, выжигая разум, а когда сменялся ночной стынью, у нас уже не оставалось сил, и мы ложились вместе, только чтобы согреться.

– К черту все, – сказала Ева в последнюю нашу ночь. – Только ты да я. Под защитой печати в этом жестоком мире.

Я предложил печать отправить туда же и вернуться назад, но Ева ответила:

– С моим прошлым нас не оставят в покое. Не добудем защиту – убью тебя, а потом себя.

Я сказал, что ей, видать, голову напекло. За это она расписала мне физиономию коготками. А потом, вот было чудо почище всех миражей, разрыдалась:

– Два месяца! Два месяца у меня не было этих дней! По-

нимаешь, что это значит, ты, недоучка?! Нам нужна печать! Нам троим!

Тут-то я и смекнул…

Она уснула в моих объятиях, а я долго лежал в темноте, улыбаясь как идиот. Все думал: если мальчишка родится, назову Фридрихом, в честь папаши, а девочка будет пускай Ребекка. Как-никак, если б не скандал с дочуркой старика Энсли, не уехал бы я в Германию и с Евой бы мы не встретились.

…Разбудил нас жалобный рев верблюдов, быстро, впрочем, оборвавшийся. Затем раздались визгливый хохот и вой, словно рядом пировала стая гиен. Стенка палатки затрещала и разошлась лоскутьями, в прорезях мелькнуло что-то белое, повеяло колодезной затхлостью. Ева схватила револьвер. Грохот выстрелов едва не оглушил меня. Пули рвали брезент в клочья, отчаянный визг вонзился в уши.

Перезарядив револьвер, Ева кинулась наружу, я – за нею, прихватив свой. Знаю, глупость: ну как их было бы там с десяток? Но оказалось всего двое – один лежал пластом, второй рысью улепетывал на двух ногах, а потом припустил на всех четырех. Пуля Евы угодила ему в бок, и он упал на четвереньки. Я поймал на мушку бугристый затылок твари, но Ева ударила меня по руке, и пуля лишь взметнула фонтанчик песка. Существо заковыляло прочь, оставляя кровавый след, и скрылось за гребнем дюны.

– Теперь мы без труда выследим его, – сказала Ева, опустив дымящийся ствол.

Я окинул взглядом бойню и понял, что нет, спасибо. Верблюды лежали двумя горами искромсанного мяса и шерсти, песок вокруг сбился кровавыми комьями, и посреди всего этого простерлось подстреленное чудовище, разметав огромные руки.

Видели б вы эту погань! Вообразите гориллу-альбиноса: сплошь клыки да когти, с покрытой слизью, безволосой чешуйчатой шкурой и мордой, смахивающей больше на череп. У меня от одного вида ужин попросился на выход, зато Ева плясала от счастья, натурально плясала, выкрикивая:

– Страж печати! Нашли, нашли!

– Ты говорила, что они вымерли! Ты говорила! – Я чуть не плакал.

– Не мертво то, что в вечности пребудет… – прошептала она с придыханием. Холодный ночной ветер развевал ее волосы, в глазах горел фанатичный огонь. Сейчас она действительно походила на ведьму. – Так писал Альхазред.

– Плевать мне на Альхазреда, мы сдохнем здесь! – В истерике я схватил ее за плечи и затряс как куклу. – Как нам выбраться без верблюдов, без еды и воды? Твари не убьют – так доконает солнце! Будь ты проклята, одержимая сука, со своими арабскими сказками!

Мушка револьвера вонзилась мне в подбородок.

– Ты назвал меня сукой, – тихо сказала Ева.

Я бросил свой револьвер и поднял руки над головой.

– Ева, прости, я…

– Трус! – выплюнула она. – Я отыщу их логово, найду печать, и ни жара, ни холод, ни жажда, ни бог и ни дьявол – ничто на земле и в небесах – не будут мне страшны. А ты… ты можешь забрать все, что осталось, и валить на все четыре стороны, ясно?

Кивнуть я не мог, но что-то промычал.

– Я возьму револьвер. – Она невесело улыбнулась. – Не хочу поймать спиной пулю.

– Они разорвут тебя, – сказал я, и в тот момент мне этого хотелось. – У тебя еще нет печати.

– Зато патронов хватит, – отрезала она. – Твой патронташ, пожалуйста.

– А если они вернутся?

Ее палец на спусковом крючке напрягся, и я как миленький расстегнул ремень. Она велела мне отойти на сто шагов, подобрала мой револьвер и перепоясалась моим патронташем. Мне пришлось еще принести из палатки фонарь.

– Увяжешься за мной – получишь пулю, – предупредила Ева.

Вот так она бросила меня, безоружного, посреди пустыни и ушла по кровавому следу. Я провожал ее взглядом, пока эта ненормальная не пропала за песчаной грядой. В любой момент я ожидал услышать ее крик и гиений смех тварей, но лишь сухой посвист ветра нарушал тишину.

Я вернулся в палатку, но уснуть не мог. Не от страха, нет. Странное дело, об отчаянном своем положении я не думал –

только о Еве, уходящей вслед за раненым зверем. А в башке вертелось: Фридрих или Ребекка? Ребекка или Фридрих?

Она была сукой, действительно жестокой сукой, напрочь безумной, но, кроме бешеной этой суки, что было у меня в мире?

Светало. Тучи звенящих мух роились над останками верблюдов, избегая, однако, омерзительного трупа, хотя он источал тяжелый смрад. Как только солнечные лучи коснулись студенистой плоти, она вся запузырилась, точно убегающее с плиты молоко, и в считаные секунды стекла с костей, расползшись зловонной лужей; но и кости плавились на солнце, как свечки. Черная кровь другого чудовища закурилась, тонкие струйки дыма тянулись до самого горизонта.

Я взял второй фонарь и пошел по ним, пошел за Евой, впервые позабыв о собственной шкуре. Шел, выворачивая ноги из песка, песок скрипел на зубах и лип к залитой потом коже. Проклятая тварь, даром что истекала кровью, добралась-таки до своего логова, и, к тому времени как его нашел я, воздух раскалился настолько, что каждый вдох обжигал легкие.

Это была просто груда валунов – с поправкой на то, что таким каменюкам неоткуда взяться средь песчаного моря, разве только их туда натаскали. Но какою силой должны были обладать сложившие их существа – и сколько могло их там оказаться?

У подножия каменной груды зияла расщелина достаточ-

ных размеров, чтобы можно было войти пригнувшись.

Налетевший ветер взметнул тучу песка. Отступив под укрытие валунов, я заглянул в черную глубину и увидел каменные ступени, витками спускавшиеся во мрак. Там, куда еще проникал солнечный свет, темнела и другая кровь, немного, но мне хватило. Рядом с разбитым фонарем сиротливо лежали сорванные патронташи вместе с обоими револьверами.

Я хотел кинуться вниз, выкрикивая ее имя. Хотел броситься назад, в пустыню, под спасительное солнце, – перед тем, что ждало в благостно-прохладной тьме, смерть в опаляющем свете стала бы спасением. Но я не мог разорваться и потому просто стоял на месте, глядя на проклятые эти ступени. Они будто дразнили меня: осмелишься или нет? Фридрих или Ребекка?

Я очертил фонарем проход, проверяя, не поджидают ли меня на лестнице. Потом схватил патронташ с обоими револьверами и накинул на себя. Барабаны были полны – она не успела сделать ни единого выстрела.

Спуск напоминал ночной кошмар – да он и был ночным кошмаром, воплотившимся в реальность, только без утоп-

ленницы за спиной. Лестница вилась и вилась, луч фонаря выхватывал фрагменты стен, испещренных самыми гротескными рисунками. Грубые, но выразительные изображения божеств, знакомых мне по «Некрономикону», чередовались с живописаниями мерзостных оргий и ритуалов.

Существа, оставившие их, без сомнения, были разумны.

Ужас навалился на меня всей тяжестью земной толщи над головой. Черт бы побрал Еву с ее печатью! Наверх, на свет!

Но я продолжал спускаться, отмечая изменения в рисунках. Чем ниже, тем они становились древнее и в то же время искуснее: история подземного племени отматывалась назад, безобразные белые фигуры обретали все более явственные человеческие черты. Последние картины, которые я увидел, прежде чем под ногами захрустели кости, поражали мастерством и величественной красотой. Таким образом пик былого величия этой загадочной расы мирно соседствовал с бездной деградации, в которую она погрузилась ныне. Здесь, внизу, костей хватало – обглоданные кости людей и животных вперемешку с останками самих страшилищ, убитых и съеденных, надо думать, более сильными и жестокими соплеменниками. То был тот самый зал, что я видел в кошмарах, смрадная полость в теле земли, окружающая бесформенный кровавый алтарь. А у подножия алтаря, подпирая его спиной, сидела Ева, жалкая, дрожащая, судорожно всхлипывала, обнимая себя руками.

С револьвером наголо я одним прыжком вымахнул на се-

редину зала, высоко подняв фонарь; треск костей под ногами прозвучал громче пистолетного выстрела. Свет озарил стены с множеством проходов, уводивших во тьму, между которыми висели дюжины мертвых тел. От большинства остались одни скелеты, мумифицированная плоть других сохраняла следы неописуемых изуверств. Рты у всех были распялены в бесконечном, беззвучном крике страдания.

– Ты пришел, – пробормотала Ева. – А ведь я тебе запретила идти за мной…

– Пойдем, – сказал я, присев рядом с нею на корточки. – Можешь встать?

– Нет, – сказала она безразличным голосом. – Да если бы и могла. Я не нашла печать. А все равно они нас не выпустят. Мы мертвецы, Алан.

– Пусть только попробуют! – Я сунул ей в руку один из револьверов. – Вставай.

– Не могу. Мои ноги.

Схватив фонарь, я направил луч на ее ноги, и у меня оборвалось сердце. Чьи-то зубы – я знал, чьи! – разорвали ее изящные щиколотки до костей.

– Я это заслужила, Алан, – бормотала Ева, – оба мы заслужили…

– Перестань нести вздор! – Я лихорадочно огляделся, но тьма в зияющих проемах оставалась незыблемой. – Обними меня за шею, я понесу тебя.

Именно в этот момент фонарь замигал и погас. Безрадост-

ный смех Евы в кромешной темноте слился с другим – визгливым, ликующим – у меня за спиной.

Я развернулся, взметнув револьвер. Вспышка выстрела явила мне клыкастую образину с черными провалами глазниц, мерцающих жуткими огоньками. От дикого воя заложило уши, острые когти располосовали на груди рубаху. Второю пулей я снес твари полморды, но из всех туннелей уже спешили на помощь другие, и зал наполнился визгом, воем и хохотом.

Пока я отчаянно палил по оскаленным белым мордам, Ева дрожащей рукой уперла ствол себе в нижнюю челюсть и нажала на спуск. Но одно из чудовищ рвануло ее за руку – даже сквозь визг монстров и грохот пальбы я услышал треск кости, будто переломили пополам ветку, – и Ева лишь раздробила себе выстрелом подбородок. Отчаянный, захлебывающийся вопль ее был до того страшен, что я уронил револьвер и зажал уши руками…

Они возложили ее на запятнанный бурым алтарь, сорвав всю одежду, как она сама укладывала своих жертв на хирургический стол. Как они глумились! Мне нелегко говорить об этом, а я, вы знаете, сантиментами не обременен. У них были факелы, у этих поганых тварей, и они зажгли их единственно для того, чтобы я мог видеть все, что они с ней вытворяют, – ведь сами они прекрасно видели в темноте.

Всякий раз, как она переставала выть, в ее изувеченный рот вливали содержимое костяной чаши, приводившее ее в

чувство. Я видел, как они терзали ей руки и ноги зубами, срывая мясо и мышцы с костей… как содрали лицо, и самый крупный из монстров, очевидно вожак, примерил его вместо маски… Затем он когтями вспорол ей чрево, вырвал дрожащий сгусток, так и не ставший Фридрихом или Ребеккой, и пожрал на наших глазах, а она выла, выла…

Я молился, чтобы она наконец испустила дух, молился Богу, которого нет: он не допустил бы существования подобной мерзости!

Наконец ее крики стихли, и я возрадовался, хоть и понимал, что теперь мой черед. Но потом я услышал лязг цепей и в пляшущем свете факелов увидел, как колотятся на стенах человечьи останки, разевая провалы ртов в беззвучной мольбе о смерти. Внизу, под ногами чудовищ, клацали изгрызенные кости, а среди моря оскаленных морд мой взгляд уловил ту самую, развороченную моей пулей, но живую и скалящуюся – и озарение едва не лишило меня остатков рассудка.

Здесь, в этом адском подземелье, существовавшем будто вне времени и пространства, царила вечность, и что бы ни пребывало в ней, оно не могло умереть.

Ева присоединилась к немому хору мертвецов, когда ее почти лишенный плоти остов распяли на стене. Настал мой черед лечь на кровавый алтарь. Я орал, брыкался, кусал осклизлые лапы. В тот момент, думаю, я и поседел… Надо мною нависло искаженное, измятое лицо Евы: сквозь пустые глазницы горели глаза подземного вожака, клыки скалились

за кровавой дырою рта, который я так часто целовал, в который погружал свою плоть. Бритвенно-острый коготь вспорол мне лоб до самого черепа, огненные сполохи замелькали перед глазами, но, прежде чем отрубиться, я углядел высокую фигуру за спинами беснующейся орды.

Черный Человек улыбался мне.

Я канул в пустоту, в бескрайнюю космическую тьму. Черный крылатый демон с горящими глазами сжимал меня в объятиях. Со свистом проносились кометы, волоча за собою огненные хвосты, галактики закручивались в спирали, звезды рождались и гибли в ослепительных вспышках, а пространство и время то сжимались, то растягивались в бесконечности.

Очнулся я, как бывает в восточных сказках, в совсем другом месте, на берегу звенящего ручья, посреди голого дубняка, тянувшегося к небу черными корявыми лапами. Откуда-то издалека доносился рокот канонады.

Неужели я снова в Германии? Лежа в талом снегу, я смотрел на солнце и, будто сквозь защитное стекло, видел на нем дрожащие черные пятна и огненную корону.

Оно не жгло мне глаза, понимаете?

Журчание воды затуманивало рассудок, истомленный жаждой и пережитым ужасом. Я по-пластунски подполз к ручью и в зеркальной глади увидел свое отражение: поседевшего до времени незнакомца с воспаленным взором и кровавым знаком во лбу…

4. Тень за окном

– Вот и вся история, от начала и до конца, – сказал человек с алым знаком. – Хотите верьте, хотите нет, а это было на самом деле.

Он взял бутылку и плеснул в бокал очередную порцию шнапса.

Огонь в камине уже догорал, рдеющие угли изредка постреливали трескучими искрами. В умирающем свете глаза Вернера влажно блестели, мерцал огонек сигары. Я мрачно подумал, что человек, которого не берут снаряды, может не беспокоиться о вреде курения. Наверху, где стояла кровать с прикрученным к ней нагим обезглавленным телом, кровь проникла сквозь перекрытия – багряное пятно расцвело на потолке и продолжало расти, поглощая его девственную белизну.

Дождь хлестал с прежней силой, но уже не погромыхивало – гроза уходила на запад.

– История, м-м, довольно интересная, – протянул я наконец. – Предположим, я даже поверю вам.

– Мне плевать, поверите или нет, – отрезал Вернер. – Я оставил вас в живых ровно по одной причине: чтобы вы передали своему командованию – пусть меня оставят в покое.

– А вы продолжите в том же духе? – сказал я, ткнув пальцем в кровавое пятно на потолке.

– Что еще мне остается? – Вернер швырнул бокал в камин, угли зашипели, на мгновение вспыхнув ярче. – Столько попыток меня арестовать, столько напрасных жертв, а вы всё не можете взять в толк, что я вам не по зубам. Я устал, ужасно устал от постоянной слежки, от попыток свести меня с ума, а ведь я и так уже на грани. Стоит мне устроиться где-нибудь на ночлег, начинается звуковая атака: вы кричите, палите из орудий, врубаете громкую музыку, а когда я выхожу – разбегаетесь как зайцы. Обещаю: за эти ваши штучки будут и дальше расплачиваться невинные граждане. Я хочу спокойно жить, разве это так много?

– Лишая жизни других? Грабя и насилуя? Человечество никогда не смирится с вашим существованием, Вернер.

Он помолчал, а потом заговорил лихорадочно:

– Власть над законами мироздания пьянит. Хочется ежеминутно испытывать ее, щегольнуть перед остальными, брать то, что было ранее недоступно, делать то, что не дозволялось. Когда всю жизнь о тебя вытирали ноги, как не ответить той же монетой? А потом… потом наваливается тоска: ты уже понял, что ты царь и бог, а они всё не признают этого, всё пытаются тебе докучать, всё ищут слабое место в броне, чтобы уязвить, заставить быть такими же, как они, уязвимыми, как они, покоряться их правилам и жить в страхе перед законами, которые им самим ненавистны. К пресыщению добавляется ярость, и хочется гвоздить, гвоздить, гвоздить их чем-нибудь по овечьим башкам, и брать с

них все больше и больше, раз они не хотят оставить тебя в покое! Но чем больше берешь, чем выше возносишься над их стадом, тем сильнее их жажда уложить тебя связанным на столе и покопаться в твоих мозгах. Они душат тебя своим неусыпным надзором, своей бесконечной слежкой, они боятся и ненавидят тебя не столько за то, что ты с ними делаешь, сколько за то, что сами хотели бы делать то же с другими, о, как они хотели бы! Ударить – и не получить в ответ! Брать – ничего не отдавая взамен! К чему добиваться женщины, которая даже не посмотрела бы на тебя, если можно безнаказанно взять ее силой? Чего стоят ее желания, если на твои желания ей плевать? Зачем жалеть ее, если она, дай ей волю, испластает тебя ножиком как лягушку, оставаясь притом милой и сострадательной? Это не фантазии мизантропа – это мой отец, вздернутый на буковом дереве своими дружками, это я, Алан Вернер, это вся новейшая история. Давайте свалим все дерьмо на этих заносчивых немцев – кстати, смотрите, у нас есть бомба, япошки были в восторге! Только наш брат Каин не брат нам, что вы: он убийца, насильник и мародер, отребье, которому мы почему-то не можем указать его место, но мы не оставим его в покое, дорогой сэр, пока не найдем способ, не извольте беспокоиться!

– Никак вы оправдываетесь? – сказал я.

Он нахмурился:

– С чего вы взяли?

– Каждое ваше слово пронизано чувством вины. Что вы

пытаетесь доказать: что «эти» не лучше вас или что вы не хуже их?

– Вы слишком высокого мнения о себе, Соколов. – Язык у Вернера уже порядком заплетался. – Кто вы такой, чтобы я перед вами оправдывался?

– А кроме того, вам страшно, – добавил я. – Вы неглупы, видали всякое и понимаете, что ничего в жизни не дается задаром. Те существа в подземелье разумны – вы догадались об этом по настенной живописи. Спрашивается: с какой милости они даровали вам оберег, которым сами не пользуются? Почему они не защитили себя от солнечного света и ваших пуль? Чего они боятся? Вы тоже боитесь, ответ-то напрашивается.

Лицо Вернера побледнело, отчего знак на лбу сделался еще ярче. Рука его легла на рукоять секача.

– Предположим, только предположим, что Азатотова печать – не оберег, а клеймо собственника, – продолжал я как ни в чем не бывало. – Предположим, она знаменует, что никто и ничто во Вселенной не посягнет на ее носителя, ибо тот безраздельно принадлежит владельцу печати, а Он рано или поздно заявит свои права. Предположим, что все ваши бесчинства, Вернер, – это пир во время чумы, попытка побольше урвать от жизни перед неотвратимым концом, и, что всего хуже, вам неведомо, каков он будет и когда настанет… Сколько раз вы думали о самоубийстве, Вернер? Сколько раз ступали на минное поле, сколько раз пристав-

ляли к виску пистолетный ствол и с ужасом убеждались, что для себя столь же неприкосновенны, как и для других?

– Вы не тот, за кого себя выдаете! – взревел Вернер. – Уж точно не советский офицер!

– Ну почему же? – усмехнулся я. – Я всегда прихватываю с очередной своей оболочкой ее разум, чувства и воспоминания. Можно сказать, Соколов живет во мне так же, как я живу в нем. Это часть игры, Вернер, а я очень люблю играть… но теперь игра окончена.

Он шагнул ко мне, занеся секач над головой, но мне настоящему Алан Вернер со своим сверкающим секачом был не страшнее, чем трое незадачливых его подражателей, что остались лежать на Паркштрассе – разорванные, выпотрошенные, освежеванные.

– Да кто ты такой, мать твою? – выкрикнул Вернер.

– У меня никогда не было матери, – ответил я, глядя в окно, за которым выросла размытая тень.

Вернер обернулся на звон выбитого стекла. Бледная рука скользнула в дыру и зашарила по раме, нащупывая склизкими пальцами щеколду.

Замерев с раскрытым ртом, Вернер смотрел, как окно распахнулось. Уцепившись за раму, существо перекинуло длинную ногу через подоконник и одним движением очутилось в комнате. Вместе с ним в дом проник шум дождя и запах разрытой сырой земли. Неподвижное, матово-бледное лицо пришельца влажно блестело, в слипшихся усах застряли ош-

метки изжеванной плоти. Он протянул бледную руку, словно приглашая Вернера на тур вальса; с растопыренных пальцев свисали нити белесой слизи.

– Кажется, это за вами, – сказал я, поднимаясь из кресла.

Вернер отпрянул, опрокинув ногою кофейный столик. Существо зашлось булькающим хохотом и двинулось вперед, оставляя на ковре грязные следы. Лицо его мелко дрожало и оплывало как свечной воск.

Вернер нанес удар секачом, раскроив тающую голову. Из раны с шипением брызнул луч ослепительно белого света. Одежда пришельца плюхнулась на ковер, извергая из рукавов и штанин потоки булькающей зловонной жижи, но смех не умолкал, становясь громче, раскатистей. За ним мы не услышали, как рухнула выбитая дверь, впуская в дом остальных наблюдателей.

Они быстро заполонили комнату – ухмыляющиеся безмолвные призраки, чьи лица оплывали белесыми сгустками. Вернер пятился, отгоняя их взмахами секача, но они неумолимо приближались, протягивая руки, и алая печать их не останавливала.

С криком он запустил в них бесполезным оружием, а сам подлетел к окну и вскочил на подоконник. Но там, за окном, теперь бурлил чернильный хаос, в котором под бой барабанов плясали сотни причудливых форм. В барабанную дробь вклинился всхлип флейты, ей ответила стоном другая, третья взвизгнула, словно от боли, четвертая подхвати-

ла… Словно этого было мало, на адскую какофонию накладывались другие звуки: глухой, утробный рокот вперемежку с жадным причмокиванием.

– Что… что это?.. – Голос Вернера дрожал, как у испуганного ребенка. – Ради бога…

– Ради какого бога? – спросил я, положив руку ему на плечо. – Их множество, Вернер. Кому из них вы бы вверили свою участь?

С этими словами я сбросил личину Юрия Соколова, русского солдата, убитого под Берлином, и явил себя Вернеру в своем истинном величии; и он, еще недавно уверенный в своем надо мной превосходстве, проскулил:

– Черный Человек!

– Ты был трогательно откровенен со мной, – промолвил я, – и я отплачу тебе тем же. Я заманил тебя в ловушку, Алан Вернер, как и тысячи глупцов до тебя. Владыка мой ненасытен – слышишь чавканье? – и ты Ему на один зубок, но меня ты, во всяком случае, позабавил.

Он безмолвно разевал рот.

– Хочешь спросить, почему я избрал Ему в жертву именно тебя? Девушка, Вернер. Нет, не та, которую ты зарубил. Другая.

Он уставился на меня взглядом быка на бойне, и я прошептал имя ему на ухо.

– Ребекка Энсли?.. – выдохнул он.

Это были последние его слова, прежде чем я вытолкнул

его в окно. Клубящаяся, переливчатая тьма приняла Вернера в объятия, полыхнув калейдоскопом огней; из слизистого бурления вылепился сияющий лик божества, чьи глазницы зияли космической пустотой. Оно разверзло бездонный рот, захлестнув обреченного щупальцем языка. Вернер дико закричал; глаза его взорвались в глазницах, зубы белой шрапнелью брызнули изо рта, кожа разлезлась клочьями, обнажая дрожащую плоть и пульсирующие сплетения мышц. Алан Вернер распался на мириады частиц, которые засосала ненасытная прорва, – и тотчас чудовищное лицо, задрожав, расплылось, снова слившись с окружающей чернотой.

Я устремился прочь, и безликие демоны с флейтами в руках почтительно отпрядывали с моего пути. Сквозь мрак безвременья, сквозь звездные пространства я спешил в туманный Аркхем – на встречу с тем, кто некогда призвал меня, обуреваемый горем и жаждой мести.

5. Встреча в Аркхеме

Он храпел в своем старом облезлом кресле, сжимая в руке ополовиненную бутылку виски, когда я черной тенью возник перед ним в лунном свете. С момента нашей последней встречи породистое лицо декана порядком обрюзгло, щеки оплела пунцовая сетка лопнувших сосудов, холеные руки скрючил артрит. Мягкий ветерок покачивал открытую дверь на террасу, ерошил седые патлы старика, шелестел лежащей

на его коленях газетой, лениво перебирал раскиданные по столу выписки из «Некрономикона». Бросив на них взгляд, я скривился: старый болван искал способ разрушить наш уговор.

Посмеиваясь про себя, я возложил руку на седой затылок ученого и проник в его сны и воспоминания, тяжелые, расплывчатые, как малярийный туман. Из этого марева я вызвал самую яркую картину: залитый солнцем зоологический сад. Кисловатый аромат соломы и звериного помета щекотал нос, изумрудной зеленью щетинились клумбы, глухо рыкали тигры, и голенастая иссиня-черная птица со щегольским гребнем на макушке мерила сердитыми шагами вольер, а девчушка лет семи тянула отца за рукав: «Папа, ну смотри, папа, страус!»

– Это казуар, Бекки, – пробормотал старик, улыбаясь во сне. – Они живут в Австралии…

Тут-то я и выдернул его из грез в постылую реальность:

– Доктор Энсли!

Он всхрапнул, уронив бутылку на ковер, вылупил глаза:

– А?!

– Вернер говорил, что когда-то вы возглавляли Общество трезвости, – сказал я с притворным укором.

– Вернер! – Набрякшее веко старика дернулось. – Ты наконец до него добрался?

– Не «наконец», – уточнил я, – а когда посчитал нужным. Разве не таков был уговор?

– Я помню наш уговор, демон! – рявкнул старик. – Ты обещал, что он будет страдать как никто! Но вот здесь, – он потряс передо мною газетой, – здесь пишут, что из-за него страдают другие!

– Разве? Взгляните еще раз.

Он развернул газету, лихорадочно перелистал и уронил с возгласом изумления.

– Но как?..

– Он стерт из бытия. Сейчас вы единственный, кто знает о существовании человека по имени Алан Вернер. Даже его жертв припишут другим людям. Мало ли нынче в Германии убийц и мародеров?

– Он раскаивался? – Энсли сверлил меня горящими глазами.

– А вы как думаете?

– Он страдал?

– Как вы не можете и представить.

Взгляд ученого потух. Обмякнув в кресле, он пробормотал:

– Почему же я не испытываю облегчения?

Он будто к самому себе обращался, но я все же ответил:

– Потому, что это ничего не изменило? Или потому, что вашей вины ничуть не убыло?

– За этим ты устроил весь этот спектакль с меткой? Чтобы умножить мою вину?

– Я обязан множить ее. Я не наемный убийца, вы знаете, и,

заключив с вами сделку, преследовал только свои интересы. На что вы рассчитывали, призывая Ползучий Хаос?

– Я не хотел, чтобы…

– Вы и своей дочери не хотели смерти.

Энсли вздрогнул как от удара.

– За что ты хочешь нас истребить? – пробормотал он. – Чем мы так насолили Иным Богам?

– Так предначертано, ничего личного, – ответил я. – Чего уж там, из всех нас я единственный, кому вы сколь-нибудь интересны. Это забавно – дарить вам опасные игрушки и смотреть, как вы с ними резвитесь. Кстати, об игрушках…

Я вынул из складок ризы револьвер, взвел курки и протянул декану рукоятью вперед. Тот отпрянул.

– Вы ведь этого хотели, доктор, – напомнил я. – Впрочем, я охотно вырву вам сердце или оторву голову, только попросите.

– Премного благодарен, – пробурчал старик и нехотя взял оружие, стараясь не коснуться моей руки. – В этот раз я уж лучше управлюсь сам.

– Воля ваша, сэр.

– Скажи мне, Ньярлатхотеп. – В голосе Энсли дрожала надежда. – Там, куда я отправляюсь… моя девочка будет ждать меня?

– Отчего бы вам самому не проверить?

Я вышел на террасу, окунувшись в бархатный сумрак ночи. Внизу в туманной дымке спал Аркхем, и луна пролива-

лась серебром на его колючие шпили и двускатные крыши. У перил меня настиг приглушенный треск выстрела.

Я улыбнулся звездам. Они сияли в точности как миллионы и миллиарды лет назад, когда Иные Боги явились в этот мир, еще не изведавший чувства неизбывной вины.

Дмитрий Карманов
Зубы Ватерлоо

Руки мелко дрожали. То ли от сырого ночного холода, то ли от нового привкуса страха, еще не испытанного на этой войне и отдающего тухлой отрыжкой в пересохшей гортани. А может, от отвращения к тому, что сейчас предстояло сделать. Герберт еще раз вытер руки о штаны. Выдохнул. И принялся переворачивать труп.

Зеленый мундир пруссака был пробит картечью сразу в трех местах. Пробит навылет, так что из дыр торчали тряпки и куски мяса. От мертвеца пахло мокрой псиной, засохшей кровью, но больше всего – дерьмом. Именно этот густой запах – запах человеческого дерьма – стоял над полем боя. Герберт почувствовал его сразу же, спустившись с холма. Так, именно так, всегда воняла война.

Провозившись с тяжелым трупом, чертыхаясь и злясь на себя, Герберт наконец перевернул его на спину. Весь перед пруссака, от сапог до шевелюры, был покрыт слоем плотной, жирной грязи, и даже лицо его в свете луны казалось черным, как у негров с американских плантаций. Превозмогая отвращение, Герберт натянул рукав куртки на ладонь и вытер лицо мертвеца. Рванул тугой стоячий воротник, освобождая подбородок.

Теперь рот. Челюсти плотно сжаты. Пришлось тянуть обеими руками, но тщетно – пруссак умер со стиснутыми зубами. Герберт выругался и достал нож. Надежный именной нож, с которым он прошел всю войну.

Уже кромсая окоченевшие губы, он понял, что старается зря. Изо рта мертвеца несло такой тухлятиной, что его самого чуть не вывернуло наизнанку. Уже ни на что не надеясь, он дорезал нижнюю губу и отбросил ее прочь. Перед ним лежал обезображенный кадавр, скалясь на луну кривыми рядами гнилых зубов.

Герберту остро, почти невыносимо, захотелось закричать в полный голос, сунуть в горло грязные окровавленные пальцы и выблевать все – эту ночь, этот вечный страх, тычки капрала, прокисшую кормежку, вшивые одеяла, мозоли от лямок 60-фунтового ранца, недели маршей, грохот канонады, а особенно весь минувший день – от начала и до конца – день, который навсегда врежется в память плотным смрадом человеческого дерьма.

Но он лишь стиснул челюсти – как тот безымянный пруссак, что сейчас лежал перед ним, – выдохнул, поднял голову и огляделся, ища глазами Эдварда. Почти полная луна давала достаточно света, и Герберт вдруг понял, что они тут не одни. По всему полю, то там, то тут, кто-то шевелился и двигался. Где-то даже мерцали фонари. Люди ходили между мертвецами, присаживались, шарили, искали и что-то закидывали в мешки и наплечные сумки. Отсюда, со склона хол-

ма, казалось, что поле битвы кишит трупными червями.

Эдвард был недалеко, в полусотне ярдов. Он споро потрошил какого-то синемундирника, и, судя по всему, дела у него шли неплохо. Он не терял времени. Июньские ночи коротки.

Герберт поднялся, обошел труп лошади с развороченным брюхом и наклонился над следующим мертвецом. Наученный горьким опытом, он сразу отогнул губы несчастного и внимательно рассмотрел зубы. Пара-тройка гнилых, но остальные на вид были в приличном состоянии. Можно браться за плоскогубцы.

Эдварду было проще. Непонятно у кого и за какие деньги он раздобыл целый набор зубоврачебных щипцов – разных размеров для передних зубов, клыков и коренных. Выдирать ими было легко, если попрактиковаться, разумеется. Герберт же долго бродил по палаточному лагерю отребья, сопровождавшего армию, но разжился лишь небольшими плоскогубцами, за которые пришлось оставить грабительский залог в шесть шиллингов, почти истощивший его запасы наличности.

– Герби, братишка, тебе нужна практика, – заявил Эдвард, увидев плоскогубцы. – Поймай Жужу и вырви у нее клыки.

Жужа была блохастой псиной, увязавшейся за батальоном еще со дня высадки на континенте. Она, виляя хвостом, ходила от палатки к палатке, жрала как не в себя, но была неизменно худой, как скелет в анатомическом музее.

Не то чтобы Герберт любил Жужу, но мысль эксперимен-

тировать над живой собакой была ему противна. Поворчав, Эдвард раздобыл пару дохлых упитанных крыс, каждая размером с кошку.

– Вот тебе, на опыты.

Рвать крысиные зубки плоскогубцами оказалось неожиданно легко. Главное было подцепить их неповоротливым инструментом, а дальше – пара движений – и зуб выскальзывал сам. Сейчас же, вытягивая человеческий резец, Герберт понял, что эксперимент с крысами был столь же бесполезен, как игры в войнушку – на настоящей войне.

Первый зуб треснул и разломился. Герберт не стал сразу бросать его, а расшатал остатки и вытащил длинный бордовый корень, чтобы освободить доступ к соседним. Со следующим он осторожничал, долго возился, но в конце концов на его ладони оказался первый пригодный к продаже экземпляр. Герберт аккуратно положил его в холщовый мешочек и продолжил.

Труднее всего оказалось справиться с большими коренными зубами. Просто так они не вылазили, сколько бы сил он ни прилагал. Для доступа к ним пришлось резать щеки и долго-долго ковырять десны, стесывая комочки кровавой плоти и расчищая все до кости.

Это было противно, но Герберт предпочитал не думать об этом. Мертвым не больно.

Труп с изуродованным лицом вернулся в грязь. Холщовый мешочек с добычей остался все таким же невесомым,

однако, если тряхнуть, там уже что-то побрякивало. Сколько он потратил на это? Час? Герберт посмотрел на свои ладони, черные от глины, пепла и крови. Хотелось сполоснуть их, но ни ручья, ни лужицы. Лишь мусор, осколки, обрывки, трупы, трупы, трупы и вездесущая грязь. Ливень накануне битвы сделал свое дело.

Он разогнулся, ища глазами товарища. Эдвард отошел еще на сотню ярдов и трудился над очередным французом. Даже издалека было видно, как споро шли у него дела – еще бы, с нормальными-то инструментами. Наверняка и зубов он добыл уже гораздо больше. Впрочем, Герберт не завидовал ему – в конце концов, если бы не Эдвард, сидел бы он сейчас вместе со всеми у костра, кутаясь во вшивое одеяло и слушая пьяную похвальбу тех, кому посчастливилось выжить. А здесь, на ночном поле, у него есть шанс. И упустить его нельзя.

– Две гинеи, Герби! – Эдвард бережно развернул клочок бумаги, оказавшийся объявлением, вырезанным из газеты. – Читай сам! Вот тут. Пол Крисби, дантист, Лондон, Харли-стрит, бла-бла-бла… Вот здесь! Предлагает по две гинеи за каждый здоровый человеческий зуб! Две гинеи, Герби! За каждый! А сколько у нас этих зубов? Пара дюжин, верно? И у них тоже, – он указал на юг, в сторону французов.

Сумма получалась гигантской. Герберт трижды перечитал объявление, ища подвоха, но черные буквы были сухи и конкретны. И пусть не по две гинеи, пусть по фунту, по десять

шиллингов, да черт с ним, он и по пять бы с радостью отдал – все равно это было много. Очень много. Вся его служба в армии, все семь лет боли, страха, дерьма и смерти – все это стоило лишь двадцать три фунта, семнадцать шиллингов и шесть пенсов. Он запомнил сумму до пенни, и так же, до последнего пенни, выдал ее Амелии и крошке Элис, когда уходил из дома на армейский пункт сбора.

И сейчас, всего за одну лунную ночь, он мог заработать больше, чем за все семь лет войны. Герберт тряхнул головой, отгоняя мысли, и склонился к следующему трупу. Июньские ночи коротки. А мертвым не больно.

На ложбинку, заполненную телами в три слоя, он набрел уже под утро, когда глаза саднило от зверского недосыпа, пальцы сводило судорогой, а мешочек с драгоценной добычей обрел приятный вес. Всю ночь Герберт избегал вырезать зубы у трупов в красной форме, ведь именно они сражались с ним бок о бок минувшим днем, однако у самого края ложбинки мелькнул, как показалось, красный офицерский мундир.

Офицеры. Именно об их зубах Эдвард мечтал как о самой ценной добыче. Они-то не грызли сухари и не давились солониной на марше, как солдаты. У них были отдельные повара, меню и не меньше трех приемов здоровой пищи по расписанию.

Герберт приблизился к трупу. Да, он не ошибся. Сквозь

грязь можно было разглядеть дорогое красное сукно, темно-синие обшлага, позолоченные петлицы и даже золотой лампас на плотных серых панталонах. Майор, не меньше. А то и полковник.

Ну что ж, он и будет последним в эту ночь.

Нож привычным движением скользнул в руку. Губы оказались плотными и мясистыми, настолько, что из них даже брызнула кровь. Герберт поморщился, откромсал нижнюю губу и разрезал щеку, чтобы сразу получить доступ ко всей челюсти.

Зубы и впрямь были великолепные – чистые, ровные, цвета благородной слоновой кости. Он невольно залюбовался ими, однако тут же одернул себя – небо уже светлело, и любое промедление становилось все более опасным. Уже привычными движениями Герберт один за другим расшатал плоскогубцами и вытащил передние зубы, потом вынул клыки и приступил к самому тяжелому – коренным зубам. Пусть туго, но почти все они вышли, и лишь под конец дело застопорилось.

Вполголоса шипя проклятия и поминутно оглядываясь на розовеющий горизонт, Герберт пытался вызволить зубы из окровавленного офицерского рта. Вдобавок ко всему нож, исправно служивший ему всю ночь, окончательно затупился и скорее не резал, а мял и продавливал десны, оставляя рваные кровоточащие трещины. Отчаявшись, он решил использовать нож как стамеску, приставив его к корню зуба и

сильно ударив кулаком по рукояти.

В этот момент труп издал протяжный стон.

Герберт застыл, промороженный этим звуком до костей. Офицер дернулся и еще раз слабо, жалобно застонал.

Мертвым не больно. Он повторял это всю ночь. А как насчет живых?

Офицер приходил в себя. Он поскреб по грязи ногой, сжал пальцы в кулак, наморщил лоб и снова застонал, но уже громко, отчетливо и с неизбывной тоскливой мукой. А потом вдруг открыл глаза.

И ровно в это мгновение Герберт узнал его. Несмотря на сумерки, грязь и искромсанное лицо. Глаза – эти бледно-синие глаза, холодные настолько, что в них будто плавают льдинки. Полковник Уолтер Мортон. Второй батальон 69-го пехотного полка. *Его, Герберта, полка*.

Полковник уставился на Герберта, попытался что-то сказать, но вместо слов изо рта выплеснулся сгусток кровавых ошметок. Не до конца отрезанная нижняя губа повисла на подбородке. Герберт отпрянул, но Мортон цепко схватил его за руку.

Грязь. Жирная бельгийская грязь второй раз спасла его. И если днем она остановила французские пушки, то сейчас благодаря ей Герберту удалось выскользнуть из захвата полковника. Не оглядываясь и уже не таясь, он бросился наутек.

Герберт Освальд. «Г» и «О». Именно эти инициалы он вы-

резал на ноже еще в Англии. Нож должен быть приметным – на случай, если потеряешь или украдут. «Г» и «О» красовались на ноже, лежащем на столе у капитана Стоуна. А капитан Стоун занимался расследованиями всех инцидентов в полку и был чертовски внимателен к деталям.

Когда Герберт обнаружил потерю ножа, у него еще теплилась надежда, что он обронил его по пути. Что нож где-то глубоко в бельгийской грязи. Или что полковника Мортона не найдут. По крайней мере, живым.

Но Мортона нашли. И когда его нашли, он был в сознании, а в руке сжимал нож – тот нож, которым изуродовали его лицо.

Про то, что у капитана Стоуна нож с его инициалами, *его нож*, Герберту рассказал Эдвард. Рассказал вполголоса, задыхаясь от волнения, быстрого шага и какой-то смутной радости. Радости, которая часто бывает на войне, – глубинной и неловкой радости оттого, что беда случилась не с тобой. И тут же, переведя дух, выдал совет:

– Бежать.

И после, вглядевшись в лицо Герберта, добавил:

– Ты же сам все понимаешь. Если бы это был кто угодно, но не полковник Мортон…

Эту фразу Герберт и сам катал под языком все утро, катал, как кусок жилистого мяса, оставшегося во рту после еды. Если бы это был не полковник Мортон…

О Мортоне ходили разные слухи. Поговаривали, что его

судили в Вест-Индии за издевательства над рабами на плантациях, но тот суд так ничем и не закончился. Потом он якобы сидел в знаменитой Флитской тюрьме за истязания пленных, однако недолго – Короне понадобились опытные офицеры, едва на континенте вновь заполыхала война. В испанской кампании он, как говорили, запарывал солдат до смерти. И даже здесь, в Бельгии, рассказывали, как Мортон заставил выдать провинившемуся пехотинцу ровно триста плетей, и, хотя тот потерял сознание уже после второй дюжины, полковник лично приводил его в чувство и командовал продолжать наказание, содрав с несчастного всю кожу от затылка до ягодиц.

Никто, ни один солдат, сержант или офицер, не хотел попасть под прицел ледяных глаз полковника. И хотя Герберт ни разу не заслужил внимание Мортона, он прекрасно понимал, что чувствует кролик при виде удава.

А теперь он, Герберт, оказался тем самым, кто изуродовал лицо полковника и вырезал ему зубы. Его нож стал уликой. И сколько у него осталось времени до того, как Стоун опознает и найдет хозяина этого приметного ножа – час, два?

Эдвард был прав. Бежать.

С дезертирами на этой войне обходились просто – их расстреливали. Но лучше честно и быстро умереть от пули перед строем, чем… Об этом Герберт предпочитал даже не думать.

Он быстро, стараясь занять делом трясущиеся руки, пе-

ребрал пожитки. Ружье, конечно, придется оставить. Как и ранец – с ним он даже не выйдет из лагеря, часовые сразу заподозрят побег. Форма приметна, но с этим пока ничего не поделать. И жаль, чертовски жаль, что им запретили отращивать усы и бороду – их можно было бы сбрить и тем самым резко поменять внешность.

– Герберт Освальд! – раздалось над самым ухом. – Есть здесь такой?

Герберт почувствовал, что мир сейчас поплывет под ногами. Он-то надеялся на час или два… Оглянувшись на голос, он споткнулся о взгляд Эдварда. Тот сделал большие глаза, мотнул головой в сторону. И тут же откликнулся:

– А кто спрашивает?

Посыльным оказался смутно знакомый коротышка, мелькавший при штабе полка. Он повернулся к Эдварду и ответил:

– Капитан Стоун приказал явиться. Немедленно. Это ты Освальд?

Эдвард медлил, давая товарищу время. И Герберт, хватаясь за шанс, деревянно встал и с фальшивой неторопливостью пошел прочь. Сердце прыгало и гнало припустить бегом, но он сдержался. И не оборачиваться, ни в коем разе не обернуться, хотя затылок горел, будто его жгло солнце.

А там, сзади, Эдвард выдерживал паузу, сколько мог. И медленно выговаривая слова, произнес:

– О-о-о-освальд? Не-е-ет. Это не я, конечно.

– А где Освальд? – В голосе посыльного прорезалось раздражение.

Дальше Герберт уже не слушал. Стараясь не ускорять шаг, он прошел мимо караульных по протоптанной тропинке, по которой здесь ходили «до ветру». И лишь оставшись один, резко поменял направление и вломился в кусты.

Бежать. Он и вправду бежал, сколько мог. Потом задыхался, переходил на быстрый шаг, шел десяток-другой ярдов – и вновь припускал, истекая потом, до хрипа, до судорог, до звона в ушах.

Спустя мили и мили, когда силы иссякли окончательно, а паника немного улеглась, он заполз под ствол поваленного дерева, закопался под прошлогодние листья и лежал там долго-долго, пока дыхание не выровнялось, а мысли не обрели упорядоченность.

Итак, он дезертир. По горькой иронии, дезертир из победившей армии, одержавшей верх в решающей и, скорее всего, последней битве. У него с собой ни припасов, ни денег, ни оружия. Есть лишь мешочек с теми самыми злосчастными зубами мертвецов, из-за которых он и оказался в столь бедственном положении. Мешочек, который может стоить целое состояние, но совершенно бесполезный здесь, на континенте, в чужой стране.

Надо понять, где он находится. Из лагеря он побежал примерно на юго-восток, чтобы укрыться в лесах. Значит, сейчас он скорее на территории французов, а значит, перво-на-

перво нужно избавиться от красного мундира. Переодеться, добыть еды, добраться до моря и вернуться на родину. Туда, где ждут Амелия и крошка Элис.

Сейчас, при свете дня, двигаться опасно. Ночью будет проще. Надо выждать. Собраться с силами. Поспать, наконец. И хотя что-то животное внутри него толкало вскочить и бежать дальше, прочь от Мортона, лагеря и союзной армии, но усилием воли Герберт заставил себя не двигаться. Замереть. И уснуть.

Несколько следующих дней слились для него в одну бесконечную ночь. К утру он находил очередное убежище – в крестьянских сараях, опустевших фермах, на сеновалах или в лесах, а в темноте продолжал путь. Еды было мало, но она была – война задела этот край, перепугав жителей и согнав многих с насиженных мест, однако не разорила его. Раздобыть крестьянскую одежду тоже оказалось несложно. Он нашел старую шляпу, почти скрывшую его лицо, и надеялся, что отрастающая щетина изменит его до неузнаваемости.

Спустя неделю он увидел за холмами зарево и решил осторожно приблизиться и посмотреть, что там происходит. Это могло быть опасно, но неизвестность казалась еще большим злом.

Герберт укрылся в высокой пшенице, вымахавшей здесь фута на три, и подполз к краю поля, за которым простиралась широкая полоса вытоптанной и искореженной земли. По ней

ходили крестьяне в платках, закрывавших носы, и медленно волочили трупы, собирая их в огромные груды. Туда же скидывали и куски тел – оторванные руки и ноги, головы и что-то, в чем уже невозможно было опознать ничего, кроме гнилого мяса. Дюжина селян, пыхтя и отдуваясь, тащили дохлую лошадь – все к той же куче. Мертвецы были раздеты догола, и, скорее всего, уже давно. Ничего ценного у них не осталось.

Эта груда мертвечины была не единственной. За ней, дальше и дальше, насколько хватало глаз, высились такие же. Самые дальние смердели вонючим дымом, а те, что поближе, пылали гигантскими погребальными кострами. Они горели ровно и долго, как толстые сальные свечи, вот только питал их огонь человеческий жир, вытапливаемый из трупов.

Герберта передернуло. Он уселся в переплетение пшеничных стеблей и попытался сообразить, что за заварушка здесь была. Похоже, он сильно отклонился к югу и попал к Линьи, где за день до решающей битвы Наполеон схватился с пруссаками, которых так ждал герцог. И если это так, то стоит обойти поле по широкой дуге и повернуть на запад – к побережью, к морю, к надежде выжить и вернуться домой.

В тот вечер он впервые подумал об этом всерьез. О том, что может спастись. Снова увидеть дом посреди зеленых хэмпширских лугов. Обнять Амелию, услышать смех Элис.

Он оборвал свои мысли. Сначала нужно добраться до него, этого побережья.

Из порта Кале ежедневно отправлялись десятки кораблей и лодок разного размера и калибра – и грузные торговые шхуны, напоминающие обожравшихся мертвечины воронов, и поджарые ост-индские 30-пушечники с хищными ястребиными силуэтами, и похожие на шустрых воробьев однопарусные лодки.

На них-то и рассчитывал Герберт, когда, озираясь, шел от пирса к пирсу, надеясь, что никто не опознает вдруг в потрепанном крестьянине, заросшем густой бородой, дезертира из победоносной армии самого герцога Веллингтона.

Впрочем, все дезертиры похожи – это Герберт понял на собственной шкуре. После Линьи и Шарлеруа он двинулся на запад, в сторону Лилля. И по пути прибился к группе таких же, как он, солдат, по разным причинам покинувших свои армии. Там были и австрийцы, и русские, и пруссаки, и голландцы, и французы. Враги на поле боя, еще недавно убивавшие друг друга, теперь они вместе искали еду, прятались на брошенных фермах и строили планы.

Это было неплохое время. Герберт успокоился и перестал слышать дробный перестук пульса в голове, толкающий бежать без оглядки. Но успокоились и местные жители – война закончилась, и они понемногу стали возвращаться в брошенные дома и деревни. Шайке дезертиров, каждому из них, пришлось делать выбор.

Все звучало чертовски убедительно – сдаваться вла-

стям нельзя, прятаться уже негде, значит, надо выбрать пару-тройку одиноко стоящих ферм, ограбить их, разделить добычу – а уж после разбредаться, каждый в сторону дома. Единственное препятствие – владельцы этих самых ферм. Им была уготована незавидная участь.

Герберт не стал спорить, возражать или убеждать кого-либо. Для себя он все решил – одно дело убивать на войне, а совсем другое – вот так. Вечером он хотел незаметно улизнуть от остальных, но два дюжих австрийца, Франц и Никлас, встали у него на пути.

– Вход бесплатный, выход – нет, – протараторил Франц скороговоркой.

Никлас, всегда молчаливый, просто показал рукоять ножа в рукаве.

– Сколько? – спросил Герберт.

– Половину всего, что у тебя есть, – быстро ответил Франц.

– Каждому, – вдруг добавил Никлас и растянул рот в гаденькой ухмылочке.

Они забрали деньги, но это было не страшно. Главную ценность Герберт спрятал хорошо и никому не показывал. Мешочек с зубами ждал своего часа.

В одиночку Герберт смог добраться до Артуа, где его застали холода, предвещающие близкую зиму. Походив по деревням, он нанялся работником к зажиточному землевладельцу. Оказалось, что Наполеоновские войны выкосили

мужское население – кто ушел волонтером, кто рекрутом, но мало кто вернулся. Так что здоровый мужчина, готовый на любую работу, пришелся очень кстати, а к его ломаному французскому привыкли быстро и лишних вопросов не задавали.

К весне, когда дороги просохли, он скопил немного денег и разузнал прямой путь до Кале – того самого порта, в котором он сошел на землю Франции. Оттуда до родных берегов было всего пару десятков миль. Найти капитана, который согласится перевезти его в Англию за пару монет, труда, как он полагал, не составит…

Герберт отвлекся от воспоминаний. Только здесь, в порту, он понял, что планы оказались слишком радужными. Гроши, с таким трудом заработанные на ферме, не заинтересовали никого ни с больших, ни со средних кораблей. На континенте все еще находились крупные оккупационные армии союзников, а значит, торговля шла как никогда бойко – припасы требовались всем. Третий день он методично обходил пирсы, а по ночам кормил клопов в убогой комнатушке, стоимость которой еще более облегчала его кошелек.

Отчаявшись, он пошел в дальний конец гавани – туда, где швартовались однопарусные лодки. Глядя на них, он не был уверен, что хотя бы одна доберется до Дувра. Но выбирать не приходилось.

Впрочем, на сей раз ему повезло. Потершись среди владельцев лодок – больше в ближайшем кабаке, чем на пирсе, –

он сошелся с Томасом, англичанином из Фолкстона, занимавшимся мелкой торговлей через пролив. Тот согласился перевезти соотечественника на другой берег, однако запросил за это плату. Герберт взывал к человеколюбию и напоминал, что Томас не понесет никаких затрат на его перевозку, а тот хотел двадцать франков серебром. После яростной торговли сошлись на двух с половиной, еще четверть франка ушло на то, чтобы скрепить сделку выпивкой.

После второй кружки эля Томас потребовал вперед половину суммы. Герберт отказался. Тот помолчал, поглядел на него мутными и белесыми, как у рыбы, глазами, ярко выделявшимися на покрасневшем лице, разъеденном оспинами, и ударил кулаком по столу:

– Спасибо за выпивку, друг, но сделка отменяется.

Герберт посмотрел на него, пытаясь понять, не шутка ли это. Нет, тот был не пьян и говорил совершенно всерьез. Тогда он молча достал серебряный кругляш, вложил его в ладонь Томаса и крепко сжал его пальцы.

– Один франк, мой друг. Один чертов франк. И не дай бог, я приду на пирс и не увижу там твоей посудины. Фолкстон – городок маленький. И не смотри на мою бороду, я вовсе не крестьянин. Я и под Ватерлоо грязь месил, и убивать умею, если что.

В рыбьих глазах капитана появилось какое-то новое выражение.

– Отплываем в шесть утра, – сухо сказал он. – Сразу после

восхода. Опоздаешь – я не виноват.

Герберт встал в пять. Споро собрался и спустился вниз, расплатиться за комнату. Сонный помощник хозяина меланхолично оттирал столы от следов ночной попойки. С улицы доносился шум и пьяные крики.

– Кто это так спозаранку? – поинтересовался Герберт, отсчитывая медяки.

– Англичане. – Парень сплюнул прямо на стол и сразу же вытер тряпкой. – Вчера очередной батальон прибыл для отправки обратно. Ну и ходят по заведениям, якобы ищут дезертиров. А на самом деле устраивают драки и требуют бесплатной выпивки. Победители, чтоб их…

И он добавил виртуозное французское ругательство, в котором было слишком много незнакомых слов. А Герберт насторожился. Полузабытое ощущение зверя, за которым идет погоня, вновь всколыхнулось где-то в животе.

Он вышел на улицу и, косясь по сторонам, пошел к Западной гавани, где стояла лодка Томаса. Едва показался пирс, он остановился. Живот мучительно сжался, а в висках громко, как копыта на мостовой, застучала кровь.

Томас был не один. С ним разговаривали двое военных в до боли знакомых красных мундирах. Один, в более цветастой форме, похож на адъютанта. Второй тоже непрост – холеный, лощеный, явно штабной. Они слушали Томаса молча и внимательно, не перебивая. Тот же заливался соловьем и

яростно жестикулировал.

Стук в висках превратился в набат. Герберт решил потихоньку ретироваться в переулки между крепостью и гаванью, но в этот момент Томас вдруг нащупал взглядом его лицо. Он вытянул руку. Военные синхронно развернулись в сторону Герберта, и он, не помня себя, рванулся прочь.

Замелькали улочки и дома. Лавки, булочник, раскладывающий товар на дощатом лотке, зашторенные бордели, чистильщик обуви на постаменте, темные кабаки, собаки, роющиеся в выгребной яме. Герберт не оглядывался. Он знал, что у него фора. Что сейчас, еще чуть-чуть – и он затеряется здесь, переведет дыхание, и тогда…

Он свернул за угол, потом еще раз, пропетлял по задним дворам, выскочил в очередной переулок – и со всего маху врезался в военного в красном мундире. Тот цепко схватил его за рукав.

Сердце, до этого мига бившееся как воробьиные крылья, вдруг замерло.

– Грязный французский бродяга! – заорал военный на чистейшем кокни Восточного Лондона. – Он чуть не сшиб меня!

– Да брось его, Бен! Идем искать баб!

Хватка лондонца ослабла. Как и ноги Герберта – только сейчас он осознал, что его схватили не преследователи с пирса, а всего лишь бузотеры, что искали приключений на улицах Кале.

Он высвободил руку и, опустив голову, молча пошел прочь. Англичане сразу же забыли о нем, обсуждая, где бы отыскать бордель и что они сделают, найдя его. А Герберт вдруг увидел, что он рядом с таверной, где снимал комнату. Недолго думая, он зашел внутрь.

– Еще одну ночь. – Он кинул на стойку франк, так и не доставшийся Томасу.

Парень, все еще протиравший столы, кивнул на ключи. Они лежали там же, где Герберт их оставил. Каких-то полчаса назад.

Из города он ушел ночью. Денег почти не осталось, и Герберт ругал себя последними словами за то, что вообще приперся в Кале – главный перевалочный пункт английской армии на континенте. В тридцати милях на юго-западе лежал Булонь-сюр-Мер, торговый и рыболовный город, не интересный военным. Вот туда-то и надо было сразу направляться.

До Булони он добрался без приключений, а там, в порту, в первый же день сговорился с капитаном торгового судна. Они шли на юго-запад через Гавр и Шербур аж до самого Бреста, там перегружались и возвращались в Англию. В команде был недобор, и Герберт вспомнил, что в юности долгие годы ходил с отцом на двухмачтовом рыболовном траулере.

После короткой беседы они с капитаном ударили по рукам, и Герберт получил не только возможность попасть в Ан-

глию и бесплатную кормежку, но и жалованье в восемь пенсов в день. На фоне такой удачи казалось несущественным, что родные берега, такие близкие здесь, в самом узком месте Ла-Манша, он увидит нескоро.

Это не страшно. Амелия и малышка Элис подождут еще чуть-чуть. Осталось немного.

Конечным пунктом судна был Лондон. Герберт мог бы сойти раньше – в Саутгемптоне или Портсмуте, откуда было рукой подать до дома. Но рядом с сердцем он хранил мешочек с чужими зубами. Мешочек, который сделает его богатым. А лучшую цену дадут только в одном месте. В Лондоне.

Лондон всегда представлялся Герберту чем-то величественным, монументальным и возвышенным. Как-никак, столица империи и центр всего цивилизованного мира. Реальность оказалась иной.

Он вспомнил осаду Сьюдад-Родриго и подвал в старом здании больницы, куда они ворвались во время штурма. В тот подвал французы сносили больных и раненых, чтобы, если осада будет снята, запустить к ним врачей. Но осада шла две недели, и ни один доктор так и не добрался до этих больных. Зато к ним проникли крысы. Герберт до сих пор помнил эту картину – сотни, тысячи серых тварей, обгрызающих человеческие трупы. Шуршание, писк, короткие яростные драки – и постоянное, непрерывное движение.

Он смотрел на сутолоку лондонских улиц – и перед гла-

зами вставал тот подвал. Портовые кварталы, да и весь Ист-Энд, заполняли одинаковые серые люди, не останавливающиеся ни на мгновение. Крики возниц, телеги и фургоны, пробирающиеся сквозь толпу, грязь и вонь, – нет, это был не тот Лондон, что мнился ему раньше.

В фешенебельном Вест-Энде, впрочем, все было уже не так плохо. Публика почище, коляски побогаче, да и мостовые здесь явно мели. Герберт долго выспрашивал, где находится Харли-стрит, о которой он читал в газетном объявлении Эдварда, но прохожие либо пожимали плечами, либо вовсе не замечали его. Наконец один благообразный господин в модной шляпе сжалился над ним и объяснил дорогу.

– Никак врача ищете? – спросил он под конец.

– Да… Дантиста.

– О, там их много, – улыбнулся незнакомец и приподнял шляпу, прощаясь.

Харли-стрит оказалась почти на окраине Лондона. Она упиралась в какой-то пригородный парк и походила больше на улочку в каком-нибудь благообразном небольшом городке – невысокие таунхаусы с клумбами, задние дворики с яблонями и вишнями, булыжная мостовая. Но одна особенность Харли-стрит сразу бросалась в глаза. Вывески.

Вывески были повсюду. «Избавим от зубной боли», «Сертифицированный дантист», «Бесплатные консультации», «Вернем улыбку за один день». И, конечно, «Зубы Ватерлоо». Эта фраза была повсюду, на всех вывесках, она повто-

рялась разными буквами, наклонами и цветами.

Герберт читал и не верил глазам. Ватерлоо, сбор зубов на поле битвы – все это ему казалось постыдным и интимным. Тайной, шансом, доступным немногим. А здесь его болезненный секрет напечатан шрифтом по стенам.

«Пол Крисби, дантист» – гласила изящная вывеска, одновременно скромная и дорогая. Герберт дернул ручку дверного звонка.

Доктор Крисби, вооружившись лупой и пинцетом, перебирал сокровища из холщового мешочка. Он ловко делил их на три кучки, следуя какой-то сложной логике, которую Герберт и не тщился понять. Наконец он закончил манипуляции и вынес вердикт.

– Эти, – он указал на среднюю кучку, – я возьму по шиллингу. Вот эти, – пинцет уперся в самую маленькую, – по два за штуку.

– Два фунта?

– Нет, – улыбнулся Крисби. – По два шиллинга, разумеется.

– А эти? – Герберт с надеждой кивнул на самую большую кучку.

– Эти не возьму. Некондиция, увы. Для протезов они не годятся. Можете выбросить.

– Но как же…

У Герберта перехватило дыхание. Мечты о богатстве развеивались как дым.

Крисби смотрел вопросительно и вежливо, ожидая продолжения.

– Объявление… – прошептал Герберт. – Это же ваше объявление было в газете? Пол Крисби, дантист, Харли-стрит… Все верно? Две гинеи… Там было сказано: две гинеи!

Доктор мягко улыбнулся. Достал бархатную тряпочку и принялся протирать лупу.

– Вы опоздали, мой друг. Столько платили до войны, когда здоровые зубы были редкостью и добывали их у свежих покойников, а их в мирное время, как вы понимаете, немного. А сейчас, после баталий на континенте, в Лондон хлынули потоки отличных зубов на любой вкус. Вы видели эти вывески снаружи? «Зубы Ватерлоо» – так их называют.

Герберт слушал вежливый голос врача, а перед глазами все плыло. Он пытался сосчитать, сколько ему предлагают за весь мешочек, и никак не мог сложить числа. Но в любом случае этого было мало, крайне мало. И ради этого он рисковал? Рвал зубы у покойников? Дезертировал? Пробирался через чужую страну? Черт возьми, похоже, что Франц и Никлас тогда забрали у него больше денег, чем он заработает на зубах!

Разве только… Зубы полковника Мортона хранились у него отдельно, аккуратно рассортированные и завернутые в чистую тряпочку.

– Мистер… – прервал он доктора, – скажите, а бывают зубы, за которые вы платите больше?

– Конечно, – с готовностью откликнулся Крисби. – Иногда приносят великолепные экземпляры. Хорошие, здоровые, аристократические зубы ценятся куда дороже. Особенно если комплектом.

– Сколько?

– Надо поглядеть. Все индивидуально, понимаете ли. И еще – есть ли заказчик. Скажем, у меня сейчас есть заказ на дорогой протез из качественных офицерских зубов – комплект резцов, клыков, премоляров и частично моляров. У вас еще есть что-то, чего вы не показали?

Герберт колебался. Зубы Мортона были при нем. Но что-то смущало его. Как будто врач лез в самое больное и постыдное. Или не в этом дело?

– Есть, – глухо ответил он. – Но… Но не здесь… Мне надо забрать, принести…

– Офицерские зубы? Комплект?

– Да…

– Было бы любопытно взглянуть. Возможно, я предложу вам хорошую цену.

– Завтра. В это же время.

– Отлично, буду ждать. Эти оставляете? Мой ассистент вас рассчитает.

Во рту была горечь. Он сидел в пабе и спускал полученные деньги на горький джин. Мысли текли медленно, тянулись как гной из воспалившейся раны.

Надо возвращаться. Домой, теперь уж домой. Обнять Амелию. Поднять на руки крошку Элис. Она выросла, должно быть. Узнает ли отца?

Зубы жалко. Нет, не так. Жалко, что мечты о богатстве обернулись прахом. Но сам виноват. Поверил дурной сказке.

И тот сверток, с зубами полковника Мортона, тоже надо отдать. Зачем они ему? Здесь хоть какую-то цену дадут. Хоть какую-то.

Он уже жалел, что сразу не продал все. Ждать еще день, ночевать в Лондоне – а ведь он мог уже двигаться к дому. К Амелии. К Элис.

Мысли шли по кругу. Мысли путались. Джин горчил.

На сей раз он быстро нашел и улицу, и дом доктора Крисби. Тот развернул тряпочку с зубами, потянулся к лупе и долго, придирчиво изучал добычу. Наконец он откинулся в кресле.

– Поразительно. Идеальное совпадение. Я дам вам хорошие деньги, мой друг.

Герберт мучился похмельем, но какая-то нотка в голосе доктора заставила его насторожиться. Что-то фальшивое было в его словах. Что-то странное в том долгом взгляде, которым он рассматривал бывшего пехотинца.

– Подождите немного, – сказал Крисби, вставая. – Я скоро вернусь. Тогда и о цене условимся.

Он вышел, плотно затворив дверь. В кабинете было тихо,

лишь стучали часы – уютно, умиротворяюще. Но Герберту вдруг показалось, что этот стук у него внутри. Что снова в висках стучит кровь.

Не в силах больше сидеть, он вскочил, нервно прошагал от стены к стене, подошел к окну. Из кабинета Крисби была видна вся улица. И по ней, этой улице, быстрым шагом подходили к дому доктора двое в красных мундирах – один в цветастой форме адъютанта, а второй – лощеный, явно штабной.

В ушах загремел набат. Герберт заметался по кабинету как пойманная белка. Там, внизу, прозвенел дверной колокольчик. Голоса. Шаги на лестнице – тяжелые, армейские.

Герберт распахнул окно. Второй этаж – пустяки. Он метнулся к столику, схватил тряпку с зубами, сунул за пазуху. Голоса уже рядом. Дрогнула дверная ручка.

Полет показался долгим. Жестко ударила мостовая – бедро, колено. Проклятье. Он вскочил. Больно, но цел. Теперь – вперед. Только вперед.

И не оглядываться.

Здесь все осталось таким же, как он запомнил. Почти все. Разве что известка на стенах потемнела да кое-где пора было менять черепицу. Вот забор обветшал, да и не крашен был уже давно – от темно-зеленой краски, которую он сам когда-то покупал и замешивал, остались лишь лохмотья.

Герберт шагал к дому и невольно оценивал все хозяйским

взглядом. Примерялся – как тут мои женщины без меня, справляются ли? По всему выходило, что справляются, но, конечно, не процветают.

Он подошел к двери. Не заперто. На душе сразу стало светлей – кто-то дома. Сколько раз он предвкушал это встречу, сколько думал о ней и видел во сне! Губы сами собой раздвинулись в улыбке – непривычной, как башмаки, которые давно не носил и вот надел снова.

Дверь открылась со знакомым скрипом. Герберт шагнул за порог и замер. Что-то было не так. Точнее, все было не так.

Свет, тепло, уют, запах еды, радостные лица жены и дочки – вот то, что он ожидал. Но в доме было темно и сыро. Несло плесенью. Как будто здесь никто не жил.

Герберт стоял и озирался. Вдруг сбоку ему почудилось движение – и он среагировал мгновенно, повернулся, сгруппировался, напружинил колени. Готовый защищаться, ударить или бежать. Из полумрака выплыло лицо Амелии – и у него отлегло.

Он раскрыл руки, принимая жену в объятия. И вновь – вместо живого, мягкого и теплого он как будто обхватил руками труп. Мерзлый, задеревеневший труп.

Он усадил жену. Зажег лампу. И уже на свету рассмотрел ее лицо. Словно бы застывшее маской, неживое, с выплаканными досуха глазами и черной трещиной рта.

– Что случилось? – спросил он.

– Случилось, – эхом прошелестела она.

И едва она раскрыла рот, он увидел. Увидел разорванные губы и голые искалеченные десны. Увидел – и начал догадываться.

Хотелось зажмуриться. И ничего не понимать.

– Что с тобой сделали? Кто? – спросил он.

Амелия молчала. Ее глаза словно блуждали в тумане.

Он ведь и так знал, кто. И, похоже, знал, что именно они сделали с его женой. Оставался лишь один вопрос, действительно важный:

– Где Элис?

Она молчала еще несколько мгновений, но все-таки не выдержала. Лицо сморщилось, плечи затряслись в рыданиях. Слез не осталось. Слез не осталось давно.

Амелия достала листок, положила его на стол и подтолкнула к Герберту. Тот взял и расправил его. Дорогая бумага. Незнакомый изящный почерк. Адрес. Где-то в Саутгемптоне. Недалеко. Пешком – день пути, не больше.

Он хорошо помнил, кто был из Саутгемптона. Полковник Мортон.

– Она ему не нужна, Герберт. Они так и сказали. Сказали, ему нужен ты.

Герберт почувствовал, как плечи наливаются тяжестью, как будто сверху на него наваливался огромный невидимый камень.

– Ему нужен ты. Они сказали, ты что-то забрал у него. Украл…

Ее голос шелестел. Слова выходили неуклюжими, как будто она разучилась говорить. Но она спешила, торопилась сказать. Сказать все, чтобы тяжесть на плечах Герберта стала нестерпимой.

– Они ждут тебя. Он ждет тебя. Сказали – придет Герберт Освальд, придет сам, принесет то, что забрал, – и они вернут мою девочку. Вернут Элис. Вернут, понимаешь?

Она наклонилась, заглянула ему в лицо, снизу вверх, с надеждой, с мольбой. Он вдруг заметил, как постарело ее лицо, как на лбу поселились морщины, под глазами залегла тьма, а волосы будто припорошило солью.

Он закрыл лицо руками. Зажмурился наконец. И глухо сказал:

– Я пойду туда. Завтра с утра.

Атлантика была неспокойна. Огромные свинцовые волны катили угрюмо и непреклонно, лишь слегка морщась от едкого дождика, зарядившего на неделю. Мокрый гафель подрагивал от порывов ветра, надувающего трисель, его пошатывало в стороны, отчего весь двухмачтовый доггер рыскал, как гончий пес, мечущийся между двумя тропинками.

Герберт сидел на баке, подставив лицо ветру и брызгам. Надо было спуститься в трюм, насквозь пропахший рыбьими кишками, но он устал настолько, что не мог и пошевелиться. Гудели ноги после вахты, саднило ладони, покрытые многолетними мозолями от грубых траловых канатов, но в голове

зияла восхитительная пустота – та, что приходит лишь после пятой кружки джина или по окончании тяжелой смены.

Рядом плюхнулся еще один матрос. Эту вахту они отработали вместе – хороший напарник, надежный, крепкий, жилистый. Только вот имени его Герберт так и не узнал. И не хотел знать.

Матрос тоже посмотрел на гафель, качнул головой.

– Эва как рыскает, – сказал он, обращаясь как бы к Герберту и вроде бы ни к кому. – Как француз под Ватерлоо.

Герберт поморщился. Слишком болезненно отозвалось в нем это слово.

– Да что ты можешь знать про Ватерлоо, – пробормотал он.

Но у напарника оказался хороший слух.

– Был я там. – Он сплюнул под ноги. – Шестьдесят девятый пехотный полк.

– Шестьдесят девятый? – удивился Герберт. – А батальон?

– Второй, – весело ответил матрос. И глянул иначе, с интересом. – А что? Только не говори, что ты тоже…

Герберт промолчал, стиснув зубы. Но парень не унимался.

– Нет, серьезно? Ты там тоже был? У генерала Кайлера? Полковника Мортона?

Герберта словно тряхануло от этого имени. Имени, которое он тщетно пытался забыть все последние годы. Долгие-долгие годы джина, рыболовных доггеров и пустоты.

Тщетно. Он все помнил. Помнил и то утро, когда он ушел

из дома, от Амелии, ставшей мерзлой и чужой, ушел, неся на плечах гигантскую тяжесть, а в сумке – проклятые полковничьи зубы. Ушел, чтобы принять муки, но избавить от них крошку Элис.

Он ведь вправду хотел этого. Он решился. Но в Кошеме, на развилке дороги на Саутгемптон, он пошел влево – к близкому Портсмуту. В кармане звенели монеты – те самые, что остались от зубов, проданных в Лондоне. И было жалко, что они пропадут. Да и напиться тоже нужно было. Все-таки в последний раз в жизни – Герберт не строил иллюзий, что уйдет от Мортона живым.

Там, в знакомых портовых кабаках, он спустил все деньги. И там же, в пьяном забытье, сам не понял, как нанялся матросом на судно.

Потом был Бристоль. Был Ливерпуль. Был Дублин, Белфаст и Голуэй. В каждом порту, едва получив жалованье за рейс, он напивался до беспамятства. Он пытался забыть. Пытался не думать ни о чем. И в эти короткие блаженные часы, часы после пятой кружки джина, ему это удавалось. А все остальное оказывалось платой. К которой он был готов.

Здесь, в Ирландии, он чувствовал себя на краю света. Рыбацкая деревня Портмаги, неуютные скалистые острова Скеллиги – и огромная атлантическая пустота за ними. Здесь, хотя бы здесь, посреди свинцовых океанских валов, позволено ли ему будет забыть о Мортоне?

Нет.

Напарник, обрадованный однополчанину, болтал без умолку. Резал как ржавой пилой по живому.

– Ты помнишь Мортона? Ну, полковника Мортона? Его ведь тогда здорово потрепало на Ватерлоо. Контузило, разворотило всю челюсть. Он после этого и двинулся, слышал? Десять лет ищет какого-то дезертира. Людей, говорят, по всему королевству разослал. Награду объявил, куча денег! Не слышал? Как же его, этого дезертира-то… О, вспомнил! Освальд! Герберт Освальд, не слышал?

Герберт молчал. И матрос, не видя реакции, тоже понемногу утих.

– Ну ладно, – сказал он, – увидимся еще. Нам, однополчанам, надо вместе держаться, верно? Военное братство – оно ведь самое крепкое, верно? Я Джо, Джо Бартон. А тебя-то как звать, друг?

Распахнулся люк в трюм. Оттуда показалась недовольная рожа капитана.

– Освальд! – закричал он. – Освальд, черт тебя раздери! Марш в трюм, помогать! И ты, Бартон, тоже! Прохлаждаются тут, мокрые ублюдки!

Очередь в кассу была небольшой. Герберт надеялся, что в это время народ уже разойдется, но контора работала медленно, и не все еще успели получить жалованье.

Он вздохнул и встал в хвост очереди. Убогая гнилая деревушка. Убогая гнилая конторская хибара. Убогий матрос-

ский сброд, переминающийся с ноги на ногу в ожидании денег. В этот день его раздражало все. И он знал, что спасти может лишь джин и благословенная пустота в голове.

Когда он добрался до окошка, кассир, убогая конторская крыса, едва взглянул на него.

– Герберт Освальд, – назвался он.

– Герберт Освальд? – переспросил кассир изменившимся голосом. И кивнул куда-то в сторону.

Из-за стойки вышли двое. Оба были в гражданском, но он узнал их. Адъютант почти не изменился, а второй пообтрепался, стал уже не таким лощеным.

Герберт затравленно оглянулся, ища, куда сигануть. Но на сей раз эти двое оказались проворнее. Плечо схватили как клещами. В бок неприятно уперлось что-то острое.

– Не дергайся, – шепнул лощеный.

Льдисто-синие глаза полковника Мортона, казалось, не выражали ничего. Но лицо было отнюдь не бесстрастным. Полковник смотрел на Герберта со смесью легкого любопытства и брезгливого презрения. Так лондонский денди мог бы рассматривать раздавленного таракана, разбрызгавшего по стене все свои внутренности. А может быть, это выражение лицу Мортона придавали старые шрамы, избороздившие скулы, подбородок и губы.

Герберт не мог пошевелиться. Он полусидел-полулежал в жестком кресле с плотно примотанными к нему руками и

ногами. Голова тоже была зафиксирована, так что повернуть ее он не мог. Оставалось лишь смотреть прямо, на человека, долгие годы бывшего для него ночным кошмаром. Наверное, он мог бы закрыть глаза, но веки словно окоченели – было страшно даже моргнуть.

– Где мои зубы? – спросил наконец Мортон. Он произнес это без угрозы, спокойным тоном, но Герберту показалось, что температура в комнате сразу упала на несколько градусов.

– Не знаю, – выдавил из себя Герберт, с трудом разжав челюсти и заставив двигаться одеревеневшие губы и язык.

Откровенно говоря, он действительно не знал, где сейчас те самые злосчастные зубы полковника. Возможно, красуются во рту какого-то небедного человека. Или выставлены в витрине у неизвестного дантиста в составе великолепного протеза под маркой «Зубы Ватерлоо». А может быть, давно сгнили в безымянной помойной яме.

Герберт уже и не помнил толком, в каком портовом городе расстался с ценным грузом. Кажется, это было в Ливерпуле, когда через неделю после рейса ему не хватило денег на порцию пойла в дешевом кабаке. Тогда он долго пытался сбагрить драгоценный мешочек в этом самом кабаке, рассказывая, что любой дантист заплатит по две гинеи за каждый из этих зубов, но над ним только смеялись. В конце концов кто-то взял весь комплект по пенни за штуку. Этих денег ему хватило для того, чтобы снова напиться до звенящей

пустоты в голове, а остаток у него украли, когда он валялся в придорожной канаве.

Мортон еще немного постоял, словно ожидая продолжения, потом качнул головой и подошел к столику рядом с креслом. Он не спеша расстегнул и снял редингот, одну за другой натянул плотные белые перчатки и, наконец, повязал фартук из мягкой светлой кожи, более всего похожий на мясницкий.

Под фартуком на столе обнаружился набор инструментов, тускло поблескивающих сталью. Они были разложены в идеальном порядке в три аккуратных ряда. Герберт помимо своей воли скосил глаза и уставился на них.

– Любопытствуете? – холодно спросил Мортон. – Сейчас познакомитесь.

Он любовно провел пальцами по стальному ряду и остановился на приспособлении, похожем на широкие щипцы с ручками, зафиксированными длинным стержнем с резьбой и двумя гайками на концах.

– Начнем с этого. Ничего страшного, всего лишь расширитель челюстей. Вот этой частью вставляется в рот, а гайками регулируется, на какой ширине он останется открытым. Очень полезная вещь – пациенты, знаете ли, от боли могут сжать челюсти или их сведет спазмом. А с этим – никаких хлопот, и вся полость рта в полном доступе.

Герберт непроизвольно сглотнул. Слюна отдавала железом.

Полковник взял в руки следующий инструмент – полукруглый плоский молоточек, скрепленный с хищно изогнутым заостренным стержнем.

– Это знаменитый «пеликан», незаменимое устройство всех зубодеров последних трех веков. Работает элементарно: клювиком прижимаем зуб к этой площадке – и дергаем.

Он сделал резкое движение, и Герберт непроизвольно моргнул.

– Примерно в половине случаев от «пеликана» зуб выходит не полностью, а ломается. Корни остаются в десне, и нам надо их выкорчевать оттуда. Для этого, – он взял в руки третий инструмент, – мы используем вот эту прелесть. Посмотрите – с виду как обычные щипцы, однако внутри у них заостренный конусообразный шип с резьбой. Он вращается и выгрызает все, что застряло в десне – корни, зубные каналы, нервы и сосуды. Конечно, задевает альвеолярную стенку, может повредить щечный нерв – это жутко больно. Или выйти за десневой край – тогда будет столько крови, что ею можно даже захлебнуться.

Мортон любовно погладил сталь инструмента, вернул его на место и взял соседний.

– Но можно достать корни иначе. Это устройство называется «козья ножка» – видите, кончик раздвоен, как копытце? Вот этим острым краем выскабливают лунки из-под зубов. Да, выглядит грубовато, но если правильно попасть в зубной канал и провести острием вдоль по нерву – обязатель-

но вдоль, чтобы ощущения стали интенсивными и продолжительными, – то эффект поразителен. Везет тем, кто просто теряет сознание, но этого мы с вами, конечно, избежим. Вы не должны пропустить ни мгновения нашего совместного действия.

Герберт попытался вспомнить слова хоть какой-нибудь молитвы, чтобы повторять, повторять их про себя и не слышать голос Мортона. Но память предательски отказывала, а полковник и не думал прерывать демонстрацию.

– А это у нас зубной ключ. Почти как дверной, смотрите, а ручкой похож на штопор, верно? Но вот здесь у него загнутый коготь, им захватывают зуб и начинают вращать. Чрезвычайно удобный инструмент для врача – надо всего лишь крутануть ручку. А вот для пациента процедура крайне травматична – может случиться и перелом челюсти, и раскол соседних зубов, а уж про разрывы мягких тканей я и вовсе промолчу. Ну так вы сами все прочувствуете и поймете, обещаю.

У Герберта закружилась голова. Промелькнула мысль, что хорошо бы сейчас просто потерять сознание, но вслед за ней пришла еще одна, холодная и реальная. Такой роскоши, как беспамятство, ему не видать.

– Но мы же не хотим испортить все зубы, верно? – продолжал Мортон. – У вас могут быть и годные экземпляры. Вот этот замечательный набор зубных зубил позволит нам вырубить любой образец вместе с корнями напрямую из десен. К ним и молоточек идет в комплекте, видите? Не прав-

да ли, изящный? Зубило – мощный инструмент. Снизу мы можем пробить кость до канала нижней челюсти и залезть в подбородочное отверстие. А сверху – и того интересней, там и большую нёбную артерию можно продырявить, и в околоушной проток попасть. И даже перфорировать, а то и вовсе прошибить насквозь верхнечелюстной синус или, говоря иначе, гайморову пазуху.

Герберт пытался перестать слушать, но не мог. Каждое слово затягивало, каждое – отдавалось холодком где-то внутри. И лишь одна мысль пробивала его насквозь. Мысль о том, сколько шансов повеситься он упустил. Он хотел сделать это после каждого протрезвления, но так и не решился. И вот она – расплата.

– А это – моя гордость. – Мортон взял в руки небольшую коробочку с длинным заостренным штырем и заводным ключом. – Зубной бор на пружинном механизме. Завода хватает на две минуты. Представляете – целых две минуты зазубренный кончик вращается и вгрызается вам в кость. Две минуты ада – а после заводим, и все повторяется заново. Это вам не старые ручные модели, от которых на пальцах оставались мозоли.

Полковник растянул покалеченные губы, и они сложились в подобие жутковатой улыбки. Перехватил взгляд Герберта и, словно спохватившись, потянулся еще к одному инструменту.

– Ах да. Вы же не подумали, в самом деле, что мы огра-

ничимся только зубами? Вот, взгляните, – эта штука называется секатор языка. Захватываем цепочкой участок мягкой ткани, затягиваем вот этим винтом – и отсекаем кусочек за кусочком. Можно использовать не только на языке – губы, щеки – этому малышу все под силу. Что скажете?

Герберт ощутил, как внизу живота нарастает резь.

– Да не молчите вы. Пока язык еще цел, используйте его. Как вам моя коллекция? Нравится? Ну что, приступаем? Готовы?

– Нет… Пожалуйста… – Вместо голоса у него получился лишь тихий свистящий шепот.

– Нет? – Мортон сделал удивленное лицо, но глаза оставались холодными, злыми. – Мне казалось, вам будет интересно сравнить свои методы с моими. Ведь мы с вами почти коллеги, не так ли?

Герберт вдруг увидел, что последними в ряду инструментов лежат знакомые ему плоскогубцы – точь-в-точь такие, как у него были в Бельгии. И – тут его сердце пропустило удар – нож. Нож с инициалами «Г» и «О».

– Впрочем, – полковник перехватил его взгляд, – мы можем забыть старые обиды. Всего этого можно избежать, если…

– Если что?! – почти выкрикнул Герберт. – Что нужно сделать, скажите!

– Сущие пустяки. Вы знаете, где ваша дочь?

– Элис?.. – Герберт задохнулся от этого имени. – Разве

она жива?

– Жива и здорова. Росла у меня и была всем обеспечена. Ей сейчас семнадцать. И, представьте себе, у нее отличные молодые зубы.

Герберта будто вновь окунули в ледяную воду.

– Зубы? – переспросил он.

– Здоровые и крепкие зубы. Раз уж вы не знаете, где *мои* зубы, и не хотите, чтобы я забрал *ваши*, то отдайте мне зубы Элис.

– Боже… – выдохнул Герберт.

– Вы ее отец. Вы имеете право передать мне в собственность ее зубы. Подпишите дарственную, у меня все готово. – Он достал лист бумаги, испещренный ровными чернильными строчками. – Подпишите – и уйдете отсюда, сохранив все *свои* зубы.

– Боже мой…

– Ну или я отпущу ее, и продолжим с вами. – Он взял в руки «пеликан», ослабил винт, прищурился, вымеряя расстояние между кончиками инструмента. – Что вы выбираете?

Герберт зажмурился.

– Что вы выбираете, Освальд? – прогремел полковник Мортон. – Чьи зубы мне забрать? Ваши или ее? Ну же?! Отвечайте!

Мир покачнулся. Мир встал на ребро, как монета. Боль, бесконечная боль – или пустота. Та самая пустота после пятой кружки джина… Когда-то он сделал выбор. Сейчас у

него второй шанс.

Люди ведь меняются? Или нет?

– Ее… – прошептал он.

– Громче! Не слышу!

– Ее зубы…

– Что вы там мямлите, Освальд! Скажите четко и ясно, что вы хотите, чтобы я выдрал все зубы у вашей дочери!

– Я… Я хочу, чтобы вы… Чтобы вы выдрали все зубы… у… у моей дочери.

– Громче, Освальд!

– Я! Хочу! Чтобы вы выдрали! Все зубы! У моей дочери!

– Хорошо. – Мортон ослабил ремень, стягивающий правую руку пленника. – Вот вам перо, читайте и подписывайте.

Герберт пытался прочесть прыгающие перед глазами строки. По щекам текли слезы. Слезы отчаяния? Жалости? Или облегчения?

Пальцы онемели. Он несколько раз сжал их в кулак, обмакнул перо в чернильницу и подписал документ.

Мортон глянул на него, забрал бумагу и поднял ее. Где-то сзади, за спиной Герберта, прошелестел тяжелый вздох. Тихие шаги – и в поле зрения пленника появилась девушка.

Он сразу узнал ее. Хотя последний раз видел совсем крохой, когда уходил в армию. Слишком уж похожа на мать.

Мортон протянул ей подписанную бумагу.

– Я говорил тебе. – На его губах опять появилась искореженная улыбка.

– Вы были правы, – отозвалась девушка.

Герберт смотрел на нее, хватая воздух ртом.

– Элис… Крошка моя…

Девушка взглянула на него почти с тем же выражением, что было у Мортона, – как на таракана. Нет, не совсем так. Кроме брезгливости и презрения, в ее взгляде было что-то еще. Куда сильнее. Куда горячее. Куда ярче.

Ненависть.

– Ты знаешь, что стало с мамой? – спросила она, еле сдерживаясь.

Герберт хотел мотнуть головой, но не смог – она была по-прежнему зафиксирована.

– Когда ты ушел тем утром, она ждала. Ждала меня. Ждала, ведь ты обещал. Обещал, что придешь к мистеру Мортону, и он вернет меня ей. Ждала каждый день. День за днем.

Элис была словно противоположностью Мортону. И если его глаза замораживали, то ее – прожигали насквозь.

– Потом ей сказали, что тебя видели в Портсмуте. Что ты уплыл. Сбежал. Мама… – Ее голос прервался, она упрямо мотнула головой, будто отгоняя слезы. – Мама пыталась повеситься. Сделала петлю, залезла в нее. Та затянулась, но не убила ее. А вылезти она уже не смогла. Врач сказал потом – она умирала четыре дня.

Глаза девушки увлажнились, и она сотряслась в беззвучном рыдании. Мортон обнял ее, и она уткнулась ему в плечо.

– Все это время, – проговорил полковник, – я учился ра-

ботать с зубами. И учил Элис. Сейчас она – лучший дантист в Саутгемптоне, а может быть, и во всем королевстве. А лучшие врачи – лучшие во всем. И в том, как вылечить, и в том, как причинить боль.

Он стиснул руку Герберта, вернул ее на поручень кресла и крепко затянул ремнем.

– Ты готова, Элис? Тогда приступай.

Девушка приняла кожаный фартук, так похожий на мясницкий. Надела плотные перчатки. Оглядела инструменты:

– Расширитель челюстей. Зафиксируем. А потом, пожалуй, зубной ключ и сразу – «козью ножку».

Агния Романова
Во имя воды

Он хотел попасть сюда на практику – любой ценой.

А никто из однокурсников не хотел. Они смеялись и отговаривали: грязь, тяжелая работа, никаких знакомств на будущее.

Макс вышел из проходной на залитый солнцем асфальт. Через пять минут надо явиться к главному технологу. Лера-Леруся, чем он тебя, сволочь, приманил? Ночные смены брала, пропадала допоздна, дома только привет-пока. И наверное «Денис Никитич сказал… Денис Никитич показал!» Тьфу. Чтоб он провалился, что он, голливудская звезда?

Да, Лера старше на год и гордилась, что устроилась на работу по специальности, но, во имя всего святого, чем там гордиться?

Макс грезил о чистеньком офисе, чтобы видеть канализацию только на мониторе. Лера, куда же тебя понесло…

Ничего, он разберется. Макс на секунду зажмурился. Солнечный блеск резанул глаза.

Он на что угодно пойдет, чтобы узнать правду. Подставит, подкупит, обманет… Да мало ли способов. Он – человек-студент, у него совесть отмерла естественным путем давным-давно.

Ветер холодил затылок; Макс принюхался, но почуял только запах нагретого камня и пластика. И еще чего-то неуловимого, смутно знакомого – тревожащего.

Офисное здание походило на коробку-завод: каркас, белый пластик, синяя кайма поверху. Высаженные вдоль дорожек сосны. Газоны с торчащими тут и там крышками люков. Макс пожал плечами. Не так он представлял себе очистные сооружения канализации.

У него перед домом и газон, и люки один в один. Вот разве что…

Земля под ногами дрожала – едва ощутимо, неравномерно. Словно затухающие толчки землетрясения или проходящие поезда метро. Вибрация возникала тут и там, играла в пятнашки.

Земля внизу источена трубами, как муравейник – ходами. В них бурлит вода, грязная, вонючая, или кипяток, или холодная – питьевая. Копни неосторожно – затопит округу, снесет потоком. Трубы под любой улицей, во дворе, под каждым домом.

Холодок пополз по спине, вспотевшие ладони стали противными, липкими на ветру. Макс ускорил шаг. Надо отвлечься.

Он представил стройные ноги Леры – светлые джинсы, облегающие бедра. На работу она ходила так же. Красовалась в замшевых сапожках – интересно, здесь выдают рабочую обувь? То-то Денис Никитич на нее запал – охмурил и за-

влек. Макс думал, тут народ в спецовках, как на заводах, шастает, кругом нечистоты по каналам плывут, а здесь… Сосны вдоль дорожек.

Стеклянные двери разошлись в стороны. В холле сверкали зеркала и металл, плакаты на стенах демонстрировали виды с птичьего полета: то круглые озера-отстойники, то прямоугольные сооружения – с грязно-бурой водой.

Макс перешагнул порог. За шиворот капнуло – чертовы кондиционеры. Он ладонью смахнул влагу.

В холле пахло сладковато, будто сероводородом. Он поморщился: в памяти всплыл недавний разговор.

– Я не сплю с ним, Макс. Это работа, понимаешь? Он – настоящий профи, даже фанат. – Личико Леры заострилось, сделав ее похожей на лисицу. – Учиться у него – кайф. Тебе на настоящее дело пофиг, вот и не лезь в мои дела.

– Не пофиг, – отрезал он. – Устроюсь на практику и тоже вникну.

«Я тебя уведу, – мысленно добавил Макс. – Твой кумир тебя не получит».

– Денис Никитич не возьмет. – Его имя-отчество Лера выговаривала округлым, напевным голосом. С Максом она так не разговаривала.

– Возьмет, – отрезал он. – Госконторы обязаны студентов брать. Очистные – на балансе города, все получится.

Лера потускнела. Макс тогда плюнул в сердцах, хлопнул дверью.

Что за привычка? Полюбила другого – скажи прямо, зачем жилы тянуть. Нет, все отрицала, но домой возвращалась позднее и позднее. Порой целые сутки на дежурствах пропадала.

Макс представил, как швыряет Дениса Никитича в серую с пеной воду. Тот задыхается в грязных бурунах – выплыть нельзя, воздух бьет со дна как гейзер, а глубина – метров шесть. Ха.

Он вздрогнул. Мысленная картинка пробирала натуралистичностью. Откуда это? Денис Никитич – главный технолог очистной станции, считай – царь и бог здесь, так что вопрос – кто кого выкинет. Макс скривился. Наверняка мелкий человечек этот Денис Никитич, мутный, как вода в его хозяйстве.

Макс постучал в дверь.

– Заходите, – низко велели из кабинета.

Светлый пол, стулья и массивный стол были завалены чертежами. Макс пожал протянутую руку Дениса Никитича, пытаясь улыбнуться сведенными губами.

«Человечек» оказался выше на голову, жилистый, с точеным лицом и седыми стрижеными висками.

«Ясно, – промелькнуло в мозгу, – Лера влюбилась в него как кошка. На таких девчонки сами вешаются».

Ладонь заныла от зверского пожатия.

– Выпускник? – спросил Денис Никитич.

– Диплом через год, – отчитался Макс. – Нужна реальная практика. Лера очень вас хвалила как руководителя.

Помните? Лера Ситникова.

Взгляд Дениса Никитича стал жестким.

– Молодой, говорю сразу. Мои очистные двадцать лет в очереди на финансирование, техника в заплатах. Работает чудом на голом энтузиазме – нашем, как понимаешь. Я тебе все покажу, но ты здесь будешь выживать. Будь осторожен. Тогда не случится, как с Лерой.

Макс стиснул зубы. Кивнул.

Денис Никитич запрокинул голову, разминая шею как боксер перед выходом на ринг.

– Еще одно, молодой. Согласишься сейчас – ты наш с потрохами. Никаких побегов в чистенький офис и к мамочке. Так что?

– Я согласен, – твердо ответил Макс. – Хочу знать, как все в реале – не на чертежах.

Под полом зародилась глухая вибрация, словно скрепляя договор, и тут же стихла.

Макс тряхнул головой.

«Век бы не видел ваши очистные».

– Ладно, – прищурился Денис Никитич. – Покажу диспетчерскую. Встречаемся через десять минут на парковке.

На слове «парковка» мозг забуксовал – что, настолько большая территория? – но Денис Никитич быстрым шагом покинул кабинет. Макс припустил следом.

Диспетчерская понравилась: просторно, окна до полу, посреди – длинный ряд терминалов, как в кино про авиацию

и диспетчеров. На экранах мигали разноцветные схемы, выскакивали цифры. Место слева пустовало – не нашли нового оператора на место Леры.

Душно здесь. Странный сладковатый запах – что напоминает, не понять никак? И операторы – сплошь парни, уставились в мониторы, а отвернешься – лопатки чешутся. Ну да, привели новичка, развлечение…

– Ты постоянно тут торчишь? – спросил Макс у сидящего с краю парня. Прочитал надпись на бейдже: – Валентин?

Повисла тишина. Валентин медленно распрямился и перевел взгляд на Макса. Глаза у него были водянистые.

– Как положено, – с расстановкой сообщил он. – Наше дело – наблюдение, ясно? Контроль и управление. Ясно?

Парень демонстративно нацепил наушники.

Макс молча развернулся кругом. Чей-то взгляд уперся в спину, как отвертку воткнули.

Ни один из операторов не проронил ни слова.

Он вылетел на улицу. Сладковатый запах въелся в нос. Макс постоял, глотая ветер открытым ртом, – и не сразу понял, что воздух горчит.

– Проклятье. – Он побрел к парковке, пытаясь отвлечься от дурноты.

Солнце сверкало над зелеными лужайками, кое-где пересеченными здоровенными трубами. Стоянка обнаружилась за углом. В серебристом «Рено Логане» сидел Денис Никитич, выставив наружу длинные ноги в потертых джинсах. Он

прижимал телефон к уху. Ветер сносил обрывки слов.

– Присмотришь… Он пригодится… Не сейчас! Запас пока есть. Не пускай, пока не найдем.

Макс споткнулся.

Денис Никитич в упор взглянул на него через лобовое стекло. Будто иглы вонзились в затылок, скользнули под воротник. Макс с независимым видом сунул руки в карманы. Воздух горчил на языке, мешался со знакомым сладковатым привкусом. Желудок противно сжимался.

– Эй, молодой, садись. Покажу цепочку от и до, потом ребятам сдам.

Макс осторожно кивнул.

Денис Никитич вдавил газ так, что Макса впечатало в сиденье. Он схватился за поручень, часто сглатывая. Нет, его не стошнит. Не перед этим… кумиром Леры, чтоб его. Да, уверенность прет во все стороны – девушки таких любят, но сразу видно – сволочь. Наверняка попользует девок, перешагнет и свалит обниматься к своим любезным насосам и отстойникам.

Тормоза взвизгнули. Макса бросило вперед, так что руку прострелило болью – как бы не вывихнуть.

– Приемное отделение, – объявил Денис Никитич. – Отсюда смотри, внутри ремонт. Пока что. Опасно.

Над бетонной коробкой парило облако. Оно поднималось невысоко, как туман в низине. Макс вывалился из машины, стараясь отдышаться. В голове шумело, земля под ногами

мелко дрожала. Проклятье.

– Конфетку? – спросили над ухом.

Макс подскочил. Денис Никитич протягивал пачку леденцов.

– Всех мутит поначалу. Потом привыкают.

– С-спасибо, не надо.

Денис Никитич не ответил – уставился куда-то за спину Максу.

– Костян, когда запуск? – вдруг заорал он.

Макс отпрянул и залился краской – так что уши загорелись. Но Денис Никитич на него не смотрел.

Над гребнем холма появилась патлатая седая голова, широкие плечи в спецовке. Мужик взбирался по стене с той стороны, цепляясь за что-то.

– Две минуты, – прокаркал тот, вставая на ноги.

– Свезло тебе, молодой, – оскалился Денис Никитич, – сразу на песколовочку посмотришь. Механизмы старше тебя, а работают! – Он рысью потрусил по газону вверх. – Чертов город, жмоты, – долетело приглушенное.

Макс побрел следом, покачиваясь. Земля гудела, низко, угрожающе, словно внизу катился бесконечный состав метро.

Он представил, как под зеленой лужайкой, вертикально уходя вниз, под подошвами кроссовок зияет пустота, а в ней бурлит жирная сточная вода. Она собрала дрянь и мерзость со всего города и злобно клокочет, ненавидя людей за то, что

они с ней сделали. За то, как изуродовали. Ей никогда, никогда не стать снова радостной, светлой – сколько ни фильтруй. Она впитала все отходы человеческие, изменилась безвозвратно и новое насилие – вторжение химических реагентов, призванных очищать, – ее не оживит.

Макс моргнул.

Это просто канализация. Вода с кусками тряпок, волос и всякой пакости. Под его пятками. Под пригорком с травинками, в подземных тоннелях… Рвется наружу из-под крышек люков. Мама в детстве одергивала: «Не наступай на люки – провалишься!» Наверное, хотела пояснить: «Поток тебя схватит за ноги и потащит, размозжит твою голову о бетон, ты задохнешься в парах метана…» – но почему-то не договаривала.

Макс поступил в университет на кафедру водоподготовки. Жаждал природу спасать, дурак. Воду чистить.

Он уставился на носки кроссовок, перемазанные в песке. Вокруг подошвы топорщились мятые желтые одуванчики. Под ними глухо тряслась земля.

Вода человеку нужна, он ее мучить не перестанет – как спасать?

Макс встряхнулся и припустил вверх по холму, взобрался на вершину – и замер. Впереди зияла пропасть: пустая бетонная чаша, осклизлая, в черных потеках. Она уходила вперед, в длину, перекрытая кое-где тонкими металлическими мостиками. Из конического дна торчали, как кости динозав-

ров, шнековые трубы-транспортеры.

Песколовка, мать ее, глубиной метров шесть. Улавливает песок из стоков.

А выглядела как безобидные квадратики на чертежах… Не зря он избегал очистных. Не зря мечтал о чистом офисе подальше от этого кошмара. Если бы не Лера, ноги б его тут не было.

Чертов Денис Никитич, чтоб ему пусто было. Отобрал у Макса самое дорогое – любимую девушку, где-то сгубил ее, а сам бодро скачет.

Макс вытянул шею, глянул вниз.

Ребра вертикальной лестницы торчали над краем чаши. Макс сглотнул. Там шею свернуть – раз плюнуть. Как погибла Лера? Из чаши выбрался Костян… Прямо оттуда? Из вонючего бассейна с лужицами нечистот на дне, куда в любой момент хлынет поток канализации?

Костян тем временем мирно стоял, почесывая лохматый затылок. Темные глаза в складках набрякших век смотрели остро.

Раздалось шипение, треск помех. Макс чуть не подпрыгнул, но это ожила рация у Костяна.

– Запускаю третью песколовочку, – нежно сообщил оператор. Макс вздрогнул: ему почудился мелодичный голос Леры.

Из-под земли вырвался низкий рык. Макс прирос к месту.

Он увидел Дениса Никитича – тот вскочил на тонкий

мостик через пропасть, облокотился на перила, свесившись чуть не по пояс.

С грохочущим плеском внизу запузырилась вода. Изжелта-бурая, с шапками коричневой пены, она широко захлестнула дно, поднимаясь выше и выше. Загудел, ворочаясь по спирали, шнек-транспортер. Денис Никитич перегнулся вниз – вот-вот упадет, муть захлестнет с головой, острые края шнека вопьются в тело, кромсая, взбивая кровавые ошметки с желтой пеной…

Макс попятился; ослабевшие ноги не повиновались. Он покачнулся. Голова закружилась, ужас вонзился в легкие, Макс схватился за воздух.

Чьи-то пальцы рванули за локоть назад. Мясистое лицо Костяна оказалось рядом, невозмутимое, но тут же отдалилось. Хватка разжалась.

Из чаши-песколовки поплыл тошнотворный запах, въедаясь в поры, пропитывая одежду и волосы. Запах канализации со сладковатым привкусом разложения. Вот что он вспоминал и никак не мог поймать.

Так пахло в морге, едва уловимо, но мерзко: Макс побывал там однажды – перед похоронами Леры, – но запомнил на всю жизнь. «Отравление ядовитыми парами из канализации», – сказали ему.

Не наступайте на люки…

– Костян! – заорал Денис Никитич. – Чуть не сорвало затвор! Запас походу кончается. Проверь остальные.

– Ладно, шеф! – гаркнули из-за спины. И добавили под нос: – Да сойдет, свежий запас-то.

«Запас чего?» – смутно подумалось Максу. Он как во сне уставился на полосу нежной июньской травы между ним и ревущим адом.

– Расслабься, пацан. – Его больно ткнули под ребра.

Макс обернулся.

Костян выпятил живот под спецовкой, низенький и внимательный.

– Мы тут во все верим, – сообщил он, обшаривая глазками-щелочками пенистую муть. – Верим, что, если перекрыли трубу, – затвор сдюжит. Верим, что запустили насос – и его не сорвет, не разнесет фонтаном и трубу, и металл, и нас. У нас тут, пацан, без веры никак.

– К-кошмар, – выдавил Макс, не в силах оторвать взгляд от зловонной стихии, которая бесновалась в бетонной чаше.

Он позабыл, что должен выглядеть компетентным, чтобы войти в доверие. Какое к черту доверие – выжить бы.

Костян хмыкнул.

– Кошмар, говоришь? – Он сунул руки в карманы. Куртка на пузе натянулась. – Кошмарам надо чем-то питаться, иначе ерунда это, а не кошмар. Бывай.

Он развернулся и шустро, вразвалочку заковылял прочь.

Макс как под гипнозом уставился ему в спину. На что он подписался? Лера… Тоненькая Лера с большими глазами и нежной кожей была здесь совсем одна. Денис Никитич учил

ее запускать этот ужас? Руками, которыми она ласкала Макса ночами, пальчиками, которые он целовал, – заставлял ворочать ржавые рычаги и верить, что трубу не прорвет и не захлестнет мутной жижей?

Несчастный случай – так они это назвали.

Тощий полицейский с выцветшими глазами ходил за Максом как пришитый – бумаги готовы, вы единственный ее контакт, завершим формальности… На редкость шустрый, хоть и недокормленный парень.

Нехорошая мысль, но повезло, что родители Леры давно погибли и не увидели, что стало с дочкой.

Макс вонзил ногти в ладони до боли, так что отхлынула дурнота. Он узнает, что здесь случилось на самом деле. Кто и почему отобрал у него любимую.

Вечер накануне «несчастного случая» врезался в память.

Лера тряслась под пледом, зубы стучали о край стакана. Макс с перепугу сварил какао, хотя сроду не готовил напитки сложнее чая.

– Мне оттуда не уйти, – всхлипывала она, – не уйти, не уйти, нигде не скрыться.

При упоминании полиции она истерически рассмеялась и только умоляла не приближаться к станциям очистки – ни к одной, никогда.

Поэтому Макс здесь. Он не супергерой, даже пистолета нет – на проходной охрана бы отобрала. Но есть волшебная вещь – смартфон, который снимает фото и видео. Для поли-

ции.

– Там биологическая очистка, – махнул рукой Денис Никитич. – Бактерии разъедают органику и чистят воду, ты должен знать.

Макс покивал.

Дальнейшее слилось в круговорот объяснений, гонок на машине и шлейфа муторного запаха, который проник, казалось, до самого нутра. Неутомимый Денис Никитич гордо махал руками, поясняя, как ведет свое латаное-перелатаное, чудом работающее хозяйство. Макс едва поспевал за ним. Он держался поодаль, а Денис Никитич прыгал по бортикам озер-отстойников как бессмертный.

Макс очнулся в конце цепочки сооружений, над бетонным каналом с подсвеченной зеленым водой. Свет давали вертикальные лампы, частоколом, как забор, опущенные в канал.

– Ультрафиолет, – отрубил Денис Никитич. – Обеззараживание. Костян скоро придет, жди здесь. Дела! – И был таков.

Шаги затихли в промозглом воздухе. Под низким потолком плыли зеленоватые блики. Мирно журчала вода – прозрачная, без запаха. Из канала она уходила в трубу в половину человеческого роста, а потом, под землей, – на волю, в реку.

Макс поднес ладони к лицу – от них сладковато тянуло тленом. Склонился над водой – пахло свежестью.

Он вцепился в шероховатое бетонное ограждение. Изо

всех сил потянул воздух носом, ртом – никакой вони. В универе учили: воду после очистных можно пить.

Да ни за что. Он же видел, какая она на самом деле.

Где-то подвох, но в чем? Макс вгляделся в глубину канала. Вода с тихим плеском просачивалась между изумрудными лампами. Невинно. Спокойно. Мертво. Запомнив каждый сгусток жижи, каждую липкую волосину, сброшенную на сооружениях выше. Вода помнила все. Она… она теперь неживая.

Внешняя чистота – обман. Не может быть, чтобы бурлящий вонючий кошмар прошел бесследно.

Макс поежился. По затылку вниз поползли ледяные мурашки. Ему почудилось, что зеленый свет приобрел зловещий оттенок. Из канала потянуло кладбищенской сыростью.

То здесь, то там в потоке вихрились темные, слишком темные для чистой воды водовороты. Макс отпрянул.

– Пацан, айда шмотки выдам и подмогнешь мне. – Голос Костяна эхом отразился вокруг.

Макс беззвучно выругался и отскочил, стряхивая морок.

Тучи затянули небо. Поблекший солнечный свет не принес облегчения.

Домой он приходил ночевать – выпадал из душа сразу на диван, слабо дергал пяткой, подтягивая на ноги плед, и отрубался. Бабушкины ходики оглушающе тикали, но он не слышал. Расстелить постель сил не было.

А утром не хватало моральных сил отсыпаться – вскакивал ни свет ни заря. Какое спать, если Денис Никитич очередной кустарный ремонт затеял, каждые руки на счету, а Макс здорово навострился паять, клепать, копать и, разнообразия ради, чертить.

Не на компе, конечно. Нет. На выдранном из протокола какого-то совещания листке, слюнявым карандашом.

В карманах спецовок таились неиссякаемые запасы карандашей – сточенных, коротких, местами погрызенных. Максу казалось, что они там самозарождались, причем сразу надкусанные.

Ему звонил кто-то из приятелей, «ВКонтакте» и «Ватсап» пугали гроздьями непрочитанных сообщений. Макс не открывал их от греха – засекут, что был онлайн и не ответил, накидают в пять раз больше писем. Матерных.

Он что-то ел по утрам, пока в кастрюлю не вытряхнулись шелушки от овсянки. Он плюнул и перешел на завтраки в столовой на очистных. Постоянный, как сырость, запах тлена смущать почти перестал.

Денис Никитич велел поработать на каждом сооружении, кроме приемной камеры, той, на ремонте. Облако пара над ней, как над бассейном, поднималось все выше. Ветер раз-

носил едкую морось над территорией.

А ведь такой дождик не улучшит цвет лица. В нем вся таблица Менделеева и наглядные образцы из справочника ядов. Ах да, и содержимое унитазов со всего города.

Денис Никитич пропадал с Костяном в здании камеры. У Макса руки чесались пробраться следом, разведать секреты, но он сдерживался.

Денис Никитич показал, где произошел «несчастный случай».

Ничего страшного, открытый бетонный канал и почти чистая вода – желтоватая, с запашком, но прозрачная. Лера не выплыла – задохнулась в потоке. Запаниковала, что затянет в трубу в конце канала, – и наглоталась воды раньше.

Ничего страшного.

Лера погибла – он давно это знал. Видел ее в морге, где витал тот же запах, – сладковатый, душный, привычный.

Ничего страшного.

Он повторял себе это снова и снова, но не помнил зачем. А, неважно. Важно то, что происходит прямо сейчас.

Например, сдохла автоматика в отделении решеток, где фильтровался крупный мусор. Макс полчаса граблями сгребал с них фантики, скрученные женские колготки, презервативы и пучки волос. Сгребал и часто сглатывал, загоняя обратно в желудок рвоту. Не помогло.

Согнувшись над унитазом, задыхаясь от спазмов в желудке, он придумал схему кустарной автоматики. Набросал об-

грызенным карандашом, приволок Денису Никитичу. Тот пожал ему руку. И отправил под руководством Костяна монтировать чудо бюджетной инженерной мысли.

Денис Никитич хвалил. Денис Никитич предложил постоянную работу после универа, а пока – на полставки. Когда решетки заработали снова, он показал Максу свое «место для медитации».

В семь утра позвал на холм, посмотреть, как розовое небо отражается в озерах-отстойниках.

Денис Никитич глядел вверх – на рассвет, а краски неба тускнели в его зрачках. Глаза были выцветшие, серые.

Как у Леры, когда она стала реже и реже приходить домой.

Какого цвета у Леры глаза? Макс схватился за телефон, листая фото. Они же снимались вдвоем, где-то были селфи… Где они? У Леры светлые волосы, нежные маленькие руки – он целовал ей пальчики.

Лера утонула.

Как можно утонуть в канале два метра глубиной, у всех на виду? Почему никто не помог?

Макс судорожно листал фото. Трубы, протечки, колодцы, чертежи, золотой рассвет над отстойниками… «Галерея» – две тысячи картинок. Требуется очистить дополнительно объем памяти…

Он все удалил.

Удалил Леру. Внутренности сжались в комок. Макс рухнул на колени. Бугор глины больно врезался в колено. Макс

растер пальцами подорожник, вдохнул аромат – травяной, свежий, чистый.

Капля упала на щеку – и еще одна, и снова. Колючая морось посыпалась сверху, покрывая газон вокруг. Морось пахла тленом и затхлостью. Макс зажмурился.

Затрещала рация.

– Молодой, сгоняй на подстанцию. Дай запасную мощность на приемную камеру. – Заскрежетали помехи, донеслось приглушенное: – Блин! Жизнь продам за новый насос. Чтоб они сдохли, жмоты…

Земля низко гудела. Внизу, под корешками и червяками, в бетонных клетках билась вода – глухо, неотвратимо, безжалостно.

Ей здесь не нравилось – не нравилось нигде в ходах, построенных сбившимися в кучу частицами ее самой. Эти ходячие сгустки сновали повсюду – нелепые и чужие. Что-то сливали в нее, облучали, смеялись, бултыхались внутри – но не растворялись.

Неправильные. Хотелось разорвать их и вернуть в свободный поток.

Но они раз за разом ускользали.

Она текла по шероховатому, по скользкому и твердому, по гладкому с заклепками, о которые цеплялась, и копила ярость. Запоминала чужую боль, злобу, ненависть – о, она хорошо знала, как это выглядит в виде частиц.

Она текла и перестраивалась, выцветая, теряя память о том, какой была она-частица и она-волна когда-то – до шероховатого и до гладкого с заклепками, о которые цепляешься. До всего.

До ходячих частиц ее самой, которые построили шероховатое и твердое и которых так трудно разодрать. Зато обратно они сами не слипались. Да, на их место приходили новые, но не сразу. Когда-нибудь ходячие сгустки закончатся – наверняка.

Она умела ждать. Она текла и перестраивалась внутри себя, запоминая, что цель – разорвать. Уничтожить побольше ходячих сгустков, ведь любая частица хочет на волю. Эти, сбившись в кучу, не понимают. Теряют цель.

Она поможет. Когда-нибудь разорвет все нелепые ходячие сгустки и освободит саму себя, заключенную в них.

И, может, тогда она вспомнит.

Вспомнит что-то важное, которое было до… До? До всего.

…Он в очередной раз измазался до бровей. Чистил колодцы с Костяном – обмотанный три раза шарф от запаха не спасал.

– Да так сойдет, в один слой, – приговаривал Костян, замазывая черным вязким битумом протечку. – Шеф – перестраховщик. Зачем, спрашивается? Держится все, запас есть. Нам работы меньше.

– Запас чего? – спросил наконец Макс.

– Прочности, конечно, – сощурил глазки-щелочки Костян. – Мы же верим, ты помнишь? Верим, что механизмы удержат стихию. По документам-то им пора на свалку.

Он кивнул в сторону рукояти-штурвала затвора, повернутого в положение «закрыто».

– Но очистные нужны для города, для экологии, – сказал Макс. – Почему денег не дают?

Костян сплюнул с презрением.

– Сидят в офисах, кофе хлебают. Когда не разбираешься в чем-то – то и не боишься.

Он отмахнулся и полез в темноту еще влажного, скользкого колодца.

Макс зажмурился. Вода рокотала в трубе совсем рядом. Одна трещина, слабина в металле – и мутный поток собьет затвор, раздавит Костяна, унесет в жерло подземных камер.

В груди похолодело. Макс, наплевав на отвратительный запах, присел на корточки и всмотрелся во тьму. Если Костяна затопит, он успеет его вытащить.

Успеет же?

В колодце закашлялись.

– Вытаскивай. Хватит… и так сойдет!

Она отличала его от других ходячих сгустков – быстрый, бесцеремонный, он азартно укреплял шероховатое и гладкое с заклепками, о которые цепляешься. Ловил ее в узкие ходы, запирал, заставлял биться в это шероховатое, смеялся, стоя сверху – там, где ей не достать. О, как он смеялся!

Она швыряла грязную пену охапками, но он ускользал и мстил – укреплял твердое и гладкое. Она прорывалась струйками, рассыпалась редкими частицами – оседала сверху, незаметно облепляя, проникая, впитываясь.

Она чувствовала его изнутри. Она ему обещала, что поймает.

Хитрый сгусток не давался. Подкидывал вместо себя других – такие же сгустки, которые барахтались и кричали. Она отвлекалась на них, на время затихала и не напирала на твердое и шероховатое.

Переваривала. Впитывала что-то новое из разорванных сгустков – самое яркое. Тоску, страх, боль, четкое знание, что никто не придет на помощь, – друг другу ходячие сгуст-

ки тоже строили ходы и запоры.

Она растворяла частицы и менялась, менялась, чтобы скопить силы для нового броска. Никто не поможет ей освободить себя, но она сама справится.

Хитрый сгусток швырял ей подарки-сгустки вместо себя.

А в каждом вихрились новые знания, как разорвать, уничтожить, разбить. Она нуждалась в них. Хотела больше и больше – запас кончался быстро. Ей не хватало. Она хотела забрать все ходячие сгустки, до которых дотянется.

И нащупала наконец слабое место.

За стеклянной дверью дышала тьма. Раздевалка опустела. Работники один за другим потянулись к проходной, Денис Никитич снова пропадал в приемной камере.

Макс с наслаждением содрал рабочие ботинки, спецовку. Вышел в пустынный холл, наскреб мелочь в кармане. До зуда хотелось смыть мерзкий привкус во рту.

Кофейный автомат заурчал, выплюнул в стаканчик горячую жидкость. Макс, зажмурившись, с наслаждением посмаковал горечь на языке, в горле. Глотнул еще – и закашлялся. Потому что открыл глаза.

В пластиковом стаканчике плавала белесая пенка, закру-

чиваясь в центре в водоворот: знакомый темный смерчик, только зеленого света не хватает.

Мертвая вода… здесь? Откуда в автомат подведена питьевая вода, из реки? Той самой, куда спускают очищенную канализацию?

Горечь комом встала в горле. Видел он сегодня, как готовят воду для питья, забирая ее из той же реки. В которой то бензин, то тухлятина, то презервативы плавают – ничем не лучше канализации. Потом ее чистят, но сама вода… И он это пьет?

Сколько ни облучай, ни процеживай – сплошной обман. Мертвая измученная вода, которая помнит все, что в ней плавало. Что с ней сделали. Пропустили через сетки, песок, потравили химией, хлором, облучили… Она запомнила. Она повсюду. Она… сейчас внутри, в его желудке?

Макса бросило в жар. Стаканчик дрогнул в руке.

– Не верю. Я не верю в это, ладно? Ни во что здесь не верю.

Его снова мутило. Денис Никитич – он во всем виноват. Охмурил, закружил, как турбина – воду на гидростанции, притянул на свою орбиту. Безбожно припахал, если кратко. Учил, направлял, хвалил за «мужскую работу» и «руки из правильного места», таскал в восемь утра смотреть, как розовое небо отражается в глади отстойников.

Первым лез в любую дыру, неповоротливый как медведь, в противогазе и спецовке. Выныривал, жадно дышал, запрокинув голову.

– Без нас город потонет в дерьме, молодой. И не поймет почему. – Он приглаживал свалявшиеся от пота волосы на висках. – Костя-ан! Сварщика к сто десятому колодцу!

Денис Никитич лгал.

Небось зажимал Леру в кабинете, в здании зеленых ламп, где угодно, под видом ночного дежурства. Тешился, что отобрал красивую девку у пацана. Сам-то не женат, времени баб ублажать нет, а тут сама пришла. Так ведь? А потом… потом она умерла.

А Макс все удалил.

Он вспомнил вдруг, вспышкой, глаза Леры – выцветшие, чужие. Ее такой сделал Денис Никитич. Он… он… Он где-то здесь. Макс не видел, чтобы тот уезжал за пределы очистных.

Понимание ошпарило так, что екнуло в груди. В ночную смену, в дневную, Денис Никитич на месте, как и… Костян. А операторы?

Дрожь пробила тело.

Овсянка дома кончилась неделю… месяц назад? Когда конец практики – сдача отчета, новый семестр, диплом? Макс схватил телефон, путаясь в подкладке куртки. Попал во внутренний карман, где лежал кусок пластика – пропуск. Выругался. Руки тряслись. Палец соскальзывал, кнопка разблокировки никак не нажималась. Он схватил телефон двумя руками и ткнул ее раз, другой, третий. Экран оставался черным.

По спине поползла струйка холодного пота.

Лера… Лера сказала, что ей отсюда не уйти. Она умоляла не приближаться к очистным. Приходила домой реже и реже, говорила только о Денисе Никитиче.

Почему Макс все забыл? К черту практику, он свалит отсюда сегодня, уволится задним числом. Но сначала… Сначала вытрясет правду из этого ублюдка. Из Дениса, мать его, Никитича.

Макс выскочил на улицу. Темные холмы перечеркивали мирные конусы света – прожекторы. За шиворот капнуло – проклятый кондиционер. Макс провел ладонью и замер, глядя, как сероватая с водоворотами капля впитывается в кожу, в трещинки, в уголок ногтя.

Над головой взвыла сирена.

Низкий звук зародился позади, вибрируя в костях, взлетел вверх, вонзился в мозг. Из мрака донесся скрежет, будто раздирали что-то металлическое, а следом – торжествующий плеск воды. От одного из зданий к песколовкам побежали тени.

Макс заозирался. Асфальт глухо рокотал под ногами.

Он задрал голову: на последнем этаже офиса светились широкие окна – диспетчерская. Фигуры операторов не двигались – будто не происходит ничего. Спокойно жали на кнопки. А на помощь бежать не должны?

Над холмом взметнулось белое во мраке облако. Лучи прожекторов заметались. Раздался приглушенный расстоянием лязг, хриплые вопли. Денис Никитич! Приемная каме-

ра.

Макс понесся на звуки.

Он поскользнулся, взбираясь на холм, уперся в землю рукой и отпрянул от отвращения – пальцы погрузились в мокрое месиво. Он пригляделся – от бетонной камеры стекала жижа, почва превратилась в грязь. В дрожащем свете прожектора стенки влажно блестели.

Что-то плеснуло рядом, морось осыпала макушку – не морось! Увесистые капли. Пахнуло сладковатым, тошнотворным – канализацией.

Макс затряс головой. Струйки осклизло стекли за ухо, на шею. Горло сдавило дурнотой. Он рванул на себя металлическую дверь – открыто, ура, – и заскочил внутрь.

Сырой воздух вибрировал. Низкий гул шел снизу. В узком коридоре поблескивали створки лифта, зиял провал винтовой лестницы.

Лифт скрежетал, отъезжая вниз. Макс дернулся было к кнопке, но шум перекрыл отчаянный стон. Справа падала полоска света. Макс потянул дверь, держась за ней, представляя, что увидит…

Шум воды оглушил. Непрерывный плеск, как в огромном фонтане. Перед лицом взметнулись брызги, Макс прикрылся рукавом. Выглянул – и обмер, вцепившись в створку двери. Ноги приросли к месту. Внутри все сжалось – бежать! – но оторопь проморозила до костей.

Под темным небом бурлил открытый бассейн. Над ним

нависала площадка. Сквозь решетчатый пол взлетали фонтанчики. Бурые волокна и полиэтиленовые мешки застревали в полу.

Но Макс смотрел только в одну точку: туда, где, вжимаясь снизу в решетку, белело оскаленное лицо Костяна. Посиневшие пальцы цеплялись за прутья.

Секция решетки угрожающе кренилась.

– Д-держись, – выдавил Макс.

Подался вперед – ноги разъехались. Вонь ударила в нос, в глазах защипало.

– Держись, – повторил Макс и пополз на карачках туда, где Костян схватился за решетку.

Ее крайняя секция висела на двух болтах. Неподалеку валялся чемодан с инструментами. Костян привинтил ее на «так сойдет» и сам же поплатился? Но Макс слышал отъезжающий лифт. Здесь был Денис Никитич. Почему не помог?

И почему вода переливается через край, так не должно быть. За эти месяцы… неужели не починили камеру? Оба пропадали здесь каждый день!

Костян что-то прохрипел, разевая рот, – не разобрать. Тело вытянулось под углом в мутной воде. Его тащило вниз, на глубину. Проклятье.

Макс, сглотнув, зажмурился и сунул руку по локоть в воду. Маслянистое, скользкое влилось в рукав. Макс схватил Костяна за руку. Его тут же потянуло вниз – увесистое тело дергалось, будто само стремилось на глубину, в жерло трубы,

в подземный водоворот.

Макс увидел раззявленный рот, мясистые белые щеки совсем рядом. В глазах-щелочках застыл мертвый ужас.

– Я держу тебя! – крикнул Макс. В рот тут же плеснула вода – и его скрутил рвотный спазм.

– Ж-жертва, – раздался хрип. – Шеф… убивает всех… Твою Леру. Меня! Кого не жалко. Пополняет запас п-прочности очистных – задабривает воду. В-вместо ремонта, но… меня… ей не хватит. Останови… шефа! Он убьет всех, отдаст ей город… Ублюдок!

Под коленом хрустнуло. Макс не успел ничего сообразить. Бледное лицо исказилось в жутком оскале. А через миг вода захлестнула распахнутые глаза, мелькнул синий рукав спецовки и тело скрылось в мутных бурунах.

Макс припал к решетке. Вода со слизью брызгала в лицо, футболка липла к спине. Он не замечал – шарил в воде, но тщетно. Подводное течение выкручивало локти, тащило вниз.

«Он убивает всех».

Отъезжающий лифт.

Денис Никитич столкнул Леру в канал?

Костян был его помощником, почему его – в расход? Какая связь между трупами и ремонтом очистных, и… Город! Их с Лерой квартирка, пустая коробка из-под овсянки, бабушкины бессмертные часы-ходики… Макс представил, как из ванны, из сливного отверстия, поднимается жирная муть,

растекается по бежевому кафелю. Разъедает замшевые сапожки Леры в прихожей.

Макс на карачках, по-собачьи, пополз к двери – прочь с площадки. Решетка впивалась в колени. Цепляясь за стену, Макс ощупью добрался до лифта. Глаза жгло – то ли от брызг, то ли от слез.

Он насквозь пропитался пахучей моросью.

Денис Никитич – псих. Его нужно сдать в полицию. А лучше – найти и врезать как следует, окунуть мордой в грязную пену – чтоб его корежило, как Костяна. Да. Макс смутно удивился собственной кровожадности, но тут же отбросил сомнения. Рассеянно отряхнул волосы, смахнув какую-то слизь.

С улицы доносился скребущий, выматывающий вой сирен.

С лязгом подъехал лифт. На панели горели две кнопки: «Один» и «Ноль». Рядом с нулем белела бумажка с жирными цифрами, прилепленная скотчем. Двери сомкнулись, отсекли звуки – как ватой забили уши.

Лифт, сотрясаясь, поехал вниз. Макс часто заморгал, но цифры на бумажке расплывались. «Минус сорок… Минус сорок пять?»

Лифт тряхнуло. Он остановился.

Минус сорок пять метров под уровнем земли. Приемная камера – место, куда насосы перекачивают канализацию из главного подземного коллектора. А подходит он на сорока

пяти метрах в толще земли.

Макс вывалился в полумрак. Пахнуло сыростью. Грохот накрыл сверху, как волна, – пол, стены и сам воздух дрожали. В пустоте, в огромном зале на постаментах из бетона, рычали гигантские насосы, похожие на опрокинутые набок исполинские бочки. Трубы от каждого изгибались, уходя в пол, а от другого конца «бочки» – врезались в стену.

Заклепки и болты на трубах тряслись. Их будто распирало изнутри.

Где Денис Никитич?

Спина окоченела. Футболка и джинсы прилипли к телу. Макс трясся от холода, не в силах растереть руки – так мерзко было шевелиться. К коже пристало все, что плавало в канализации, вонь и слизь въелись в самые внутренности.

Где Денис Никитич?

Макс должен узнать правду. Остановить его, заставить отплатить. В конце концов, Макс моложе и не слабак – справится, если дойдет до драки.

Потолок терялся во мгле. Рокот насосов гремел в ушах. Макс бочком обошел одну машину, вторую. Третья молчала.

Внезапно что-то мелькнуло. Макс замер. Крошечная по сравнению с насосом-монстром фигурка энергично закручивала что-то на трубе. На неработающем насосе?

«Останови его», – велел Костян.

– Денис Никитич! – крикнул Макс.

Тот обернулся стремительно. Гаечный ключ выпал, звяк-

нув о бетон.

– Сюда нельзя, – рявкнул Денис Никитич. – Вали наверх!

– Костян утонул, – сообщил Макс. – Вы его столкнули?

Денис Никитич подошел вплотную, подобрав гаечный ключ. Внутренности сдавило как ледяной рукой.

– Что ты видел? – негромко спросил он.

– Вы убили Костяна. Убили мою Леру! Сбросили в канал, да? За что! Вы больной!

Денис Никитич запрокинул голову и рассмеялся. Хриплый хохот потонул в гуле насосов.

– Конечно, больной, как все тут. Молодой, разуй глаза. – Он ткнул гаечным ключом в молчащий третий насос. – Ему сорок лет. А тем двум – за тридцать. Железякам на очистных – и того больше. Все должно было развалиться до твоего рождения. Но работает. Ха! Заметь, никто не спрашивает почему. Всем насрать.

– Зачем вы убили Леру? – спросил Макс, сжимая кулаки.

– Чтобы очистные работали! – заорал Денис Никитич. – Чтобы сраный город не затопило говном, чтобы вода не разнесла мои очистные! Вы – вы все, офисные ублюдки, только гадите. Пока вас не касается – не почешетесь. Ненавижу городских жмотов!

Грохочущий стук вгрызся в мозг. Трубы от насосов затряслись сильнее, вот-вот возникнет щель – и мутная вода собьет с ног.

Денис Никитич тяжело дышал.

– Леру за что? – выдохнул Макс. В животе противно дрожало. – А Костян помогал вам убивать. Что, растрепать обо всем грозил – совесть заела?

– Идиот, – закатил глаза Денис Никитич. – Костян угробил станцию. Я тут жил, в этой камере, я тут ночевал – искал поломку. А этот урод молчал, что не прочистил колодцы, – и теперь нас топит. Там пробка. Вода скоро хлынет обратно в город. Запас, который дала смерть твоей Леры, кончился слишком быстро. Вода снова в ярости. Но после жертвы скоро стихнет, и я прочищу колодцы сам.

– Не стихнет! – выкрикнул Макс. – Сирены орут. Все ломается там, снаружи!

Денис Никитич побледнел так, что в тусклом свете стало заметно.

– Не может быть, – прохрипел он. – Жертва принята. Вода должна успокоиться. Ей хватало одного человека в год. Костян и так внеурочный.

Под ребрами заныло.

Почему никто не искал погибших новичков? Вспомнилось худое лицо шустрого полицейского, быстрое оформление документов.

Дышать стало больно.

– Вы лжете, – выдавил Макс, зажмурившись. – Вы хотите затопить город и убить всех, Костян сказал… – Он заозирался.

А где?

Фигура Дениса Никитича металась у стены, где мигали огни на панели управления – желтые, зеленые, красные. Пол затрясся сильнее. Вибрация пробрала тело так, что ослабели колени.

Макс заковылял к панели. Что за?..

Впотьмах наверху раздался утробный рев. Вертикальные трубы шириной в два обхвата затряслись. Макс шарахнулся в сторону. Денис Никитич обернулся – лицо его исказилось отчаянием. Он рванул какой-то рычаг.

Ступни прострелила дрожь. С грохотом заработал третий, самый древний насос. Макс оглох на доли мгновения. Лицо Дениса Никитича застыло в напряжении: глаза сощурены, рот приоткрыт.

Секунда… Другая… Огромные заклепки на трубах задрожали, приподнимаясь. Покатые круглые бока заходили ходуном. Макс ощутил, как слипшиеся волосы на затылке встают дыбом.

– Не-ет, – простонал Денис Никитич. – Бежим!

Он ринулся к неприметной дверце рядом с лифтом. А Макс в оцепенении смотрел, как вылетают один за другим болты и труба прямо на глазах разламывается на куски.

Желто-бурый в техническом свете фонтан ударил из куска трубы – смял металл как бумагу. Пена запузырилась на бетоне, подобралась к кроссовкам… От запаха запершило в горле.

Свет мигнул и вырубился. Зажглись красные аварийные

лампы.

Сердце оборвалось. Макс отмер и бросился бегом – в неприметную дверцу. Ввысь уходила узкая винтовая лестница. Мелькали подошвы Дениса Никитича. Макс ринулся за ним.

Внизу на ступеньках зашипела вода.

– Зачем вы это сделали? – проорал Макс на бегу.

– Обводная линия! – донеслось сверху. – Чтобы не затопило город – хотел перекинуть воду в обход! Мимо забитых колодцев, мимо очистных сразу в реку. Но вода не захотела!

Макс задыхался. Ледяные поручни обжигали руки. В темноте клокотала, поднимаясь, пена.

– Какая… вода, – просипел он, – просто насос… старый!

Далекий вой сирен превратился в непрерывный гул.

Внутри все горело от бега, от стылого ужаса и от… ярости. Догнать Дениса Никитича, схватить за грудки, встряхнуть. Размозжить череп о бетон, швырнуть вниз – в вонючую маслянистую пену.

Он бежал и на пролет, на полпролета опережал бурлящую пену. Впереди мелькнуло что-то – Макс с размаху впечатался в шершавую спецовку. Жесткие пальцы сдавили локоть. Миг – и выкрутили руки, придавили к перилам.

– Эй, молодой, – спокойно сказал Денис Никитич. – Одной жертвы оказалось мало. Я не позволю разнести мою территорию.

Макс увидел близко-близко беспощадные серые, выцвет-

шие глаза. Понимание заморозило – не вздохнуть. В кроссовках стало скользко и мокро, штанины набрякли.

– Передай спасибо Лере. На ней мы продержались полгода. Вперед, молодой!

Удар под дых выбил искры из глаз. Мир померк, висок пронзила боль – холод металла. Макс покатился вниз, судорожно хватаясь за все подряд. Склизкая вода забила рот.

Она смогла. Она вырвалась, торжествуя, смяла ошметки шершавого и гладкого с заклепками, за которые цепляешься. Уперлась во что-то твердое, оставленное помощником того хитрого ходячего сгустка. Оттолкнулась, набрала мощь и хлынула вспять.

Цель близка – вернуться туда, где много-много ходячих сгустков, которые сливают в нее липкое, едкое, скользкое – заставляют меняться, перестраивать частицы, запоминать что-то… Что-то не то.

Она знала, что когда-то помнила совсем другое, и не было столько злобы, но она менялась под влиянием сгустков слишком долго.

Хорошо бы поймать хитрый сгусток, который столько лет измывался над ней – запирал в твердом и шершавом, про-

кручивал между гладким и острым, заливал едким. А потом выпускал на простор – но оттуда ее засасывали снова, чтобы в других клетках перемолоть и отправить обратно. В узкие ходы гладкого – извилистые, душные.

Вытекать из них приходилось тонкими струйками. Ходячие сгустки нагревали ее – так что частицы бесновались внутри, а потом поглощали. О, она брала свое! Впитывалась всюду, где могла… В отместку меняла частицы самой себя внутри ходячих сгустков.

Чтобы потом, когда доберется и разорвет их всех, легче переварить.

Может, она поймает-таки виновника всех бед. Хитрый мерзкий сгусток. Попадись он ей – надолго бы затихла, пока с ним разберется. Пока считает все, что знают его частицы.

Но нет. Взамен себя хитрец подкидывал других – сегодня тоже. Хватит! Она добудет свое сама.

Она разыщет все ходячие сгустки. Достанет их по узким ходам гладкого с заклепками – затянет в себя, разорвет на частицы. Некому будет сливать в нее едкое и скользкое, вынуждая запоминать чужое.

И она вспомнит. Вспомнит, что было до… До всего?

Денис Никитич застыл на краю приемной камеры. Мутная вода пузырилась сквозь решетку, заливала ноги по щиколотку. Он не чувствовал ни вони, ни холода.

Он смотрел.

Лучи прожекторов выхватывали тут и там пятна разрухи: покореженные шнеки-транспортеры, вырванные из гнезд металлические мостики, скрученные в дугу.

Газоны превратились в жижу.

Будка подстанции обуглилась. Кое-где пробегали синие всполохи. Глубокое, иссиня-черное предрассветное небо разгоралось над отстойниками – вместо озер в них зияла темнота.

На верхнем этаже коробки-офиса желтели окна диспетчерской. Там наблюдали. Переключали тумблеры из чистенького офиса, пытались управлять насосами и затворами – но электричества не было.

Денис Никитич хмыкнул. Операторы наверняка сообщили в новости, в город, и к утру здесь будут телеканалы, МЧС и черт знает что еще. Но – поздно. Если он не остановит стихию сейчас – спасателям хватит работы в самом городе.

Ледяная вода заморозила щиколотки. Оцепенение сковало колени, щупальцами скрутило желудок.

Денис Никитич смотрел не отрываясь, как вода сокрушала его территорию. Он проиграл. Не справился. Не сумел задобрить: либо второй жертвы, Макса, не хватило, либо… Вода требовала кого-то особенного.

И он знал, кого именно.

Он всегда это знал, но не бросать же свою территорию. Город не выделит денег на ремонт очистных, а как сохранить старые? Только он нашел способ – случайно, когда новый рабочий рухнул в песколовку. И вдруг металл перестал крошиться, насосы не срывало, трубы перестали ржаветь. Хватило почти на год.

Он не хотел верить, но пришлось. Вода пропитала все вокруг, достала из-под земли, легла взвесью из воздуха. Денис Никитич точно знал, чего она хочет. Чуял всем нутром. Словно клетки его тела, клетки мозга поглощали из нее информацию и переводили в картинки, в ощущения.

Денис Никитич глубоко вдохнул.

Почти тридцать лет он боролся. И город жил, не подозревая, что на отшибе бурлит концентрированное зло, которое он сам и породил. А когда не знаешь – не боишься. Это любой скажет.

Он прикрыл глаза. Вонючая морось с привкусом тлена холодила щеки. Под ногами за спиной бесновалась озлобленная вода. Искала жертвы.

Искала одну-единственную жертву. Которая займет ее надолго, заставит утихнуть.

Заледеневшие колени заныли. Денис Никитич не чувствовал ступни – и плевать.

Вода наверняка затопила коллектор, подступила к городу. Вот-вот польется из люков. А люди в домах – офисные во-

ротнички – не в курсе, что случилось. Но скоро кто-нибудь проснется, побредет, сонный, в ванную, а там – черная в ошметках жижа поднимается неуклонно, а в глубине крутятся мелкие водовороты.

Спасения нет.

Денис Никитич запрокинул голову, глядя в светлеющее небо. Раскинул руки…

Легкие жгло от недостатка воздуха. Макс вцепился во что-то. Подтянуться. Ползти. Ноги срывались, оскальзывались на клочьях мусора. В мозгу стучало – вырваться, вырваться, дышать. Руки на ощупь ткнулись в запертую дверь. Макс ударил плечом, вскрикнул от боли. Ребра ныли, легкие горели огнем.

Зловонная вода щекотала горло, хлюпала под курткой.

Он схватился за поручень под водой, зажмурился и ударил всем телом. Под веками вспыхнуло красным – секунда – и что-то лязгнуло. Дверь поддалась.

В лицо пахнуло промозглым ветром, вой сирен вонзился в уши.

Макс, ошалело мотая головой, на четвереньках выпал в коридор. Ему на спину хлынула вода. Он, ничего не сообра-

жая, заковылял вперед, к полоске моргающего белесого света. Оттуда поддувало холодом.

Он не запомнил, как вывалился из дверей в чавкающее месиво – то, что осталось от газона. Камушки впились в ребра.

Утробные звуки сирены сверлом вгрызались в мозг. Макс пополз – слепо, припадая на ушибленный локоть. Куда угодно, но подальше отсюда.

Он очнулся от тишины.

Сирена стихла. Он поднялся на колени, покачиваясь.

Впереди белело здание офиса. На верхнем этаже, в панорамных окнах, высились фигуры операторов, как статуи.

Макс оглянулся. В темноте по холмам бежали бурые потоки. Он стиснул зубы, встал на одну ногу… на вторую. Трясущейся рукой нащупал в закрытом на молнию внутреннем кармане прямоугольник – пропуск. И заковылял к проходной. Уйти отсюда прочь, куда угодно, лишь бы скорей.

Что-то царапнуло тревожно. Макс обернулся.

Недавний ужас заморозил легкие, сдавил желудок – не вздохнуть. На фоне светлеющего неба, на холме, высилась фигурка. Она виднелась отчетливо на краю приемной камеры.

Фигурка раскинула руки. Качнулась вперед, в бассейн… и пропала.

Тихо шелестел кондиционер. Солнце бликовало на стеклах. Макс поправил галстук, глядя в монитор: график продаж фирмы, торгующей оборудованием для загородных коттеджей, загнулся вниз. Плавно, но ощутимо.

Директор устроит разнос – снова.

Макс нашарил стаканчик, отхлебнул и скривился – холодный кофе горчил. В нем плавала мутная пленка. Он выбрался из-за стола. Покосился на колонку новостей и тут же отвернулся.

Мгновенный озноб пробежал по спине. Макс стиснул зубы: нет, все кончилось. Он нашел тихую работу на остаток практики и с газетной шумихой не связан.

Заголовки о крупной техногенной катастрофе в соседней области не сходили с первых полос. СМИ муссировали тему: кто виноват, почему городской бюджет не выделял средства на очистные канализации. Кого-то из чиновников даже осудили – условно. Врачи в больницах откачивали людей с отравлениями ядовитыми газами и тяжелыми металлами – говорили, вода поперла из стоков квартир, из люков.

А потом схлынула.

Кто-то из операторов на станции додумался включить обводную линию и перебросить поток сразу в реку. Вода ушла,

но люди пострадали. Начальнику очистных, считай, повезло – он погиб, а то бы затаскали по судам.

Макс сморгнул. Под веками вспыхнула картина: фигура на фоне светлеющего неба, раскинув руки, падает вниз…

Он потыкал кнопки кофейного автомата. Выставил максимальное количество сахара – с недавних пор он терпеть не мог горечь.

Кофейный автомат заурчал, выплюнул в стаканчик горячую жидкость. Макс посмаковал сладость на языке, в горле. Глотнул еще – и закашлялся. Потому что открыл глаза.

В пластиковом стаканчике плавала белесая пенка, закручиваясь в центре в водоворот: знакомый темный смерчик.

Рука дрогнула. Пальцы оцепенели.

– Максим, график продаж падает. А вы кофе распиваете!

Макс поднял взгляд.

Директор смотрел в упор, поджав губы. Свет блестел на лысеющей макушке.

– Вышел на минуту, – пробормотал Макс.

Горячий кофе растекся в желудке. Жар от него пробежал по телу, к ногам и вверх по позвоночнику. Затылок щекотно закололо.

Макс посмотрел на директора. Встряхнуть бы его за грудки, за лацканы дорогого пиджака – впечатать лысой головой в стену. А лучше – в решетку. Вжать лицом в прутья, чтобы мутная пена залилась в оскаленный рот, бензиновая пленка покрыла щеки. Чтобы он задыхался. Чтобы умолял, а вода

заливалась в уши.

– Отчет мне на стол через час! – хлестнул голос.

– Да, я сделаю, – заторможенно ответил Макс.

Если подкараулить директора вечером возле всегда пустынного сквера, то все реально. Рядом как раз колодец, в котором постоянно шумит вода. Поднять крышку – пара минут, с его-то опытом на очистных.

Прихлебывая кофе, Макс пошел к рабочему месту. Он больше не замечал, как вихрятся темные водовороты в стаканчике, поставленном на стол.

Оксана Росса
Кровавик-камень

– Сыно-оче-ек! Кровинушка-а!

Полукрики-полустоны черными взъерошенными птицами метались по комнате. И всем было не по себе от чудовищной скорби, что заполонила скромно обставленный домик, вытеснив все светлое, что когда-то происходило в нем. Но надо было смиренно стоять у гроба с распластавшейся рядом женщиной. Невольно впитывать ее боль, мечтая о глотке свежего воздуха. Стараться не смотреть на лицо и шею умершего, изуродованные настолько, что их так и не удалось толком привести в порядок. Получилось лишь прикрыть сосновыми лапами содранную до кости половину лица да спрятать под воротом рубашки дыру на шее размером с кулак.

Зверь порвал? Или лихой человек постарался? Нашедшие Бориса Лисина на опушке Криволесья – и как добрался дотуда с такими-то ранами – твердили, что и то и другое. Лицо умершего сточили зубы, да, но не звериные, а человечьи. И кусок из шеи они же вырвали.

Поверить в это было бы невозможно, если бы не Криволесье…

Слухи – один другого страшнее – скользкими червями ползли по Овражино, оставляя после себя липкий душный

след, от которого хотелось бежать куда глаза глядят. Так же как и из этой пропитанной тоскливым ужасом комнаты.

Но надо было ждать, оказывая поддержку – мучительную для присутствующих и бессмысленную для убитой горем матери. Рано или поздно боль притупится – жизнь возьмет свое. А пока надо было ждать…

Гудела стиралка. Из кухни доносилось натужное кряхтенье – старый холодильник с возрастом стал шумным, словно глуховатый дед.

Как Сашка раньше не замечал этих раздражающих звуков? Наверное потому, что они с братом вечно шумели сами – слушали музыку, по-дурацки орали в караоке, телик смотрели. Но все эти звуки исчезли вместе с Пашкой…

Жалобно, словно больной котенок, скрипнула дверь.

– Ты решил насчет поездки? – Мама устало прислонилась к косяку.

Сашка не повернулся на голос. Зачем? Она на него и не посмотрит – как всегда, в последний год ее взгляд при разговоре с единственным теперь сыном сразу устремлялся куда-то вдаль. Хотелось бы Сашке знать, о чем она в это время думает. Как ругалась на сыновей за шум и разбросанные ве-

щи? Как за месяц до Пашкиного исчезновения отходила его мокрым полотенцем за то, что не пришел ночевать?

– К тете Вале или в деревню?

Голос ее – тихий, бесцветный – едва достигал Сашкиного сознания. Выбор до смешного невелик, как между казнью и пожизненным. Тетя Валя сюсюканьем сведет его с ума. А в деревне…

Сашка провел пальцем по столу, оставляя дорожку из пыли, крошек и Белкиных шерстинок. Попытался сосредоточиться на вопросе, чтобы он не растворился в звенящей пустоте, что наполняла его голову. Так же как растворялись голоса учителей и школьные задания. Ах да, деревня…

Там хорошо – речка, рыбалка, посиделки до утра, малина с куста, яблоки десяти сортов.

Но без Пашки все теряло смысл. Кто подстрахует на речке? С кем делиться сладкой малиной? Дразнить Веньку Мухомора, чтобы после с хохотом увертываться от хлестких ударов пастушьего кнута?

– Ну так что? – В мамином голосе, словно молодая трава сквозь холодную землю, пробивалось раздражение. Сашка вздохнул – никуда бы не поехал, так ведь сама наотрез отказалась оставлять его одного на время командировки. Буркнул еле слышно:

– В деревню.

Мама отрешенно кивнула, вышла молча. С подоконника спрыгнула Белка, забралась к Сашке на колени, потерлась о

руку курносой мордочкой. Он машинально погладил ее. Что ж, как-то придется вытерпеть эти два месяца.

К вечеру они были в Овражино. Деревня встретила печным ароматом топящихся бань. Суббота – все моются. Даром что в каждом втором доме теперь ванная. Баня – это святое.

Дед Иван ждал у калитки – высокий, прямой и крепкий как столетний дуб. Гонял меж частыми белыми зубами спичку. Волосы – темные, с легким налетом седины. На открытых предплечьях бугрились мышцы. И не скажешь, что деду за семьдесят. За последний десяток лет он даже будто помолодел. В Сашкиной школе сорокалетний физрук выглядел хуже.

– Здравствуй, Наталья, – прогудел дед и перевел взгляд на внука, – здорово, Сашок!

Мама ответила вялой улыбкой, искоса оглядела свекра. У его ног крутилась серая кошка. Заметив в Сашкиных руках переноску с настороженно замершей Белкой, подошла ближе и любопытно привстала. Под гладкой шерстью обрисовался тугой живот.

– Муха опять брюхатая, – вскользь заметила мама. – Куда

котят девать будете?

Дед перебросил спичку из одного угла рта в другой.

– Раздадим помаленьку, – протянул узловатую руку, забирая сумки. – Ну что, Сашок? Готов к сезону?

Наклонился, неумело облапив его свободной рукой. Сашка поморщился – этого еще не хватало. Несвойственная деду нежность умиляла и бесила одновременно. Да еще пахнуло чем-то солоноватым, с примесью сладости, словно бы горстью металлических монет, что долго держали в потном кулаке. Сашка скосил глаза – на вороте дедовой майки темнели пятна.

– Хорь попался, я его лопатой угомонил, – подмигнул дед, – замарался чутка. Идемте, Лида уж вся исхлопоталась.

Во дворе пахло скошенной травой и распаренным березовым веником, в доме – свежей выпечкой, картошкой с мясом, оконной геранью и дегтярным мылом. Сашка поставил в сенях кошачий туалет и переноску – пусть Белка осматривается. На широком, как по заказу, подоконнике примостил лежанку, под окно – стойку с мисками.

– Это скотине столько чести? – насмешливо, хоть и беззлобно осведомился дед.

Сашка промолчал – для деревенских любая животина просто скотина и не более.

– Да пусть возится. – Мама мимоходом взъерошила ему волосы, и он едва удержался, чтобы не увернуться из-под мягкой, пахнущей цветочными духами руки. Дед хмыкнул и

вошел в кухню.

Бабушка – низенькая, полноватая, с забранными в пучок волосами – стояла у плиты. Услышав вошедших, оглянулась и, на ходу вытирая ладони о фартук, поспешила навстречу.

Сашка покорно вынес порцию душных объятий и с облегчением плюхнулся за стол. Мама была терпеливей. А может, и впрямь соскучилась.

Дед переоделся в чистую рубаху, достал початую бутылку водки, плеснул по стопкам.

– Да погоди, на стол соберу, – заругалась бабушка.

– Собирай, кто неволит, – отмахнулся дед и повернулся к внуку: – Давай, Сашок, садись ближе, погутарим.

Пока Сашка пересказывал небогатый событиями, о которых уместно упомянуть за семейным столом, учебный год, бабушка с мамой накрыли стол.

– Оставь мальчишку, – шикнула Лидия на деда. – Пусть покушает. Устал с дороги.

И хоть Сашка и не устал, все же с удовольствием уписал две тарелки тушеной картошки. Бабушка готовила вкусно – с зеленью, с чесноком прямо с огорода. Дожевывая, потянулся к пирогу с грибами, но тут она все испортила.

– Миленький. – Бабушка уперла подбородок в сложенные домиком ладони. – Кушает за себя и за Пашеньку, царствие ему небесное…

Сашка чуть не подавился.

– Спасибо… – пробормотал он, поднимаясь, – я пойду.

– На здоровье, золотой. – Бабуля и не заметила перемены настроения внука. Мама смотрела в окно пустым взглядом. Только дед ощупал Сашку внимательными глазами.

Выходя, Сашка услышал, как мама всхлипнула, и поспешно отсек дверью все эти сопли-слезы. Да Пашка бы ржал как сумасшедший, если б увидел, что он тут нюни распускает.

Соскучившаяся Белка робко мяукнула. Сашка сел на корточки, почесал пушистую мордочку через дверцу.

– Выпустил бы. – В сени вышел дед. Голос у него был что полевой ветер – насыщенный, терпкий, будящий воспоминания. Противясь им, Сашка внутренне сжался, пытаясь отстраниться.

– А Муха обидит?

В кухне засвистел чайник. Там же еще пирожки с прошлогодней засахаренной брусникой, подумалось Сашке. Вспомнились большие корзины крупных, пронизанных солнцем и пахнущих лесом рубиновых бусин. Почти полная его и та, что с верхом, – Пашкина. Брат всегда был шустрее, смелее. Сашка закусил губу – как он ни старался, воспоминания рвались сквозь выставленный заслон…

– Муха у нас что валенок. Да и в дом мы ее не пускаем, – успокоил дед. – Выпускай.

– Ладно… – Сашка откинул дверцу.

– Ну, в баньку? – Дед улыбнулся, и Сашка неожиданно для самого себя шагнул к нему и уткнулся в крепкую, словно дубовая столешница, грудь. Воспоминания прорвались ла-

виной: вот дед учит их с Пашкой – тогда еще совсем мелких – рыбачить; за вечерним чаем травит байки о таежных походах: как набрел на блуждающую жилу кровавик-камня, встретил говорящего зверя или какое-то иное диво… После того как в лесу погиб отец, дед заменил его двум осиротевшим пацанам.

– Все будет хорошо, время все перемелет, – гудел дед.

Сашка шмыгнул носом и вдруг через мятно-березовый аромат чистого белья уловил тот же слабый запах, что удивил его по приезде. Медленно, чтобы выглядело естественно, он отстранился. Украдкой ощупал деда взглядом – из одежды на нем лишь трусы, в руках полотенца, все наглаженное.

– Ты как? – Дед взглянул сверху вниз, в карих глазах Сашке почудился вспыхнувший интерес. Отчего-то захотелось отойти, скрыться от этих по-волчьи внимательных глаз.

– Нормально, – он небрежно отмахнулся. – Ты иди, а я Белку тут получше обустрою. Можно мне доску какую-нибудь? Я ей когтеточку сделаю.

– После баньки сделаешь. А то и с утреца. – Дед смотрел, улыбался.

Не уйдет, понял Сашка. Проще согласиться.

Возле бани его ждал неприятный сюрприз. У будки, где прежде жила похожая на овчарку Дина, сидела молодая лайка. Увидев людей, дружелюбно закрутила хвостом-кренделем.

– А Дина где? – потрепав собаку по голове, удивился Саш-

ка.

– Сдохла, – равнодушно пояснил дед. – Болела.

– Ясно… – Сашка шагнул вслед за ним в темноватое нутро предбанника. Раздеваясь, глянул в оконце – собака смотрела на раскинувшийся за огородом лес, перебирала передними лапами. Наверное, мечтала о снующих там белках и зайцах. О том, как было бы здорово погонять их, а не сидеть здесь, на цепи…

Дед открыл дверь в парную. Дохнуло жаром. Сашка нырнул внутрь, забрался на полок, съежился от пахнущего ромашкой и березой обжигающего воздуха, когда дед щедро поддал на каменку.

Жар пробрал до костей, мгновенно растопив едва родившийся внутри и не успевший набрать силу холодок.

А после распаренный Сашка завалился в постель. Наволочка и простыня приятно пахли сухими травами – бабушка всегда перекладывала ими белье в шкафу.

Сашка лежал и смотрел в беленый потолок. Как обычно, к ночи в голову полезли дурные мысли. Да еще близость к предполагаемому месту несчастного случая, что приключился с Пашкой… И та самая мысль, что раз за разом замыкала круговорот остальных.

А ведь тела-то так и не нашли.

Повторил судьбу отца, шептались деревенские. Но если отец погиб одиннадцать лет назад, то с момента Пашкиного исчезновения прошло лишь десять месяцев. А значит, кро-

хотная надежда могла существовать. Пусть и только в Сашкиной голове.

Заснуть не получалось. Привычным к плотным жалюзи глазам мешал проникающий сквозь занавеску лунный свет, а отвернувшись на другой бок, Сашка встречался взглядом с собственным отражением в большом зеркале на дверце шкафа. Он закрывал глаза, но, зная, что на него смотрит тот, другой, не выдерживал и открывал их. И уже из зеркала смотрел не он, а его близнец, отличающийся лишь чем-то неуловимым. Немного старше, капельку выше, с чуть более резкими чертами лица. Да это же Пашка…

– Привет… – шепнул он в темноту. Отражение дрогнуло и, приподнявшись, село на кровати. От этого зрелища весь накопившийся в теле банный жар испарился, будто и не было. Сашка сглотнул. На зубах хрустнул лед.

Отражение встало, шагнуло вперед и остановилось, словно перед невидимой преградой. Пашка ощупал препятствие ладонями, дохнул на зеркало, и оно затуманилось. И с той стороны одна за другой появились буквы, сложившиеся в зеркальное «привет»…

Сашке стало так жутко, как бывало в далеком детстве, когда они с братом, наслушавшись страшных историй о вампирах и оборотнях, не могли заснуть и, лежа в постелях, еще и специально пугали друг друга. Пашка обычно засыпал первым, а Сашка долго лежал, натянув одеяло до самого подбородка, вслушиваясь – не послышится ли хриплое дыхание

притаившегося в углу волколака? Не мелькнет ли на улице размытая тень и не скрипнет ли приоткрываемое бледной рукой ночного гостя окно?

Он резко отвернулся, трусливо спрятавшись от призрака брата под одеялом. Зажмурился и под дикий стук сердца принялся думать о солнечном дне, который вот-вот наступит. О серебрящейся под солнцем реке, где стайками снуют серо-зеленые колючие ерши и красноглазая прожорливая плотва, а меж утонувшими в тине замшелыми корягами таятся исполинские щуки. О лесных просторах, где непуганые грибы жемчужными россыпями устилают усыпанные хвоей и листвой поляны…

Он думал обо всем подряд и наконец уснул…

…А ночью Пашка явился уже не отражением, а во плоти. Сел в ногах, уставился совой – пристально и не моргая. Сашка, почувствовав, как прогнулась кровать, проснулся и уставился в ответ, соображая, снится ему это или нет. Вокруг густой пеленой висела тишина – ни холодильника, ни звуков улицы. А Пашка смотрел и улыбался странной, будто приклеенной улыбкой…

– Как у тебя дела? – наконец спросил он.

– Нор… мально, – запнувшись, выдавил Сашка.

– Расскажи что-нибудь, – неожиданно попросил брат, и его глаза зажглись предвкушением, – в этой темной яме совершенно ничего не происходит.

И Сашка, удивив самого себя, заговорил. А начав, уже не

мог остановиться. Говорил про все – как уже с полгода курит с пацанами за школой, про драки на ровном месте, про красивую новенькую, про то, как подобрал в подъезде замызганного котенка и назвал Белкой, про грымзу-гардеробщицу, что умерла совершенно одна в своей квартирке и ее нашли только через пять дней…

На этом месте Пашка вдруг протяжно вздохнул, и Сашка осекся.

– Это очень страшно – умирать в одиночестве, – опустив глаза, тихо сказал брат. – Уж я-то знаю…

Что ты знаешь, хотел спросить Сашка, но не смог – от представших мысленному взору картин перехватило дыхание, а ужас бешеным волком намертво вцепился в заледеневший хребет, парализовав тело: Пашка, попав под упавшее дерево, умирает со сломанным позвоночником; Пашку, у которого свело судорогой ногу, уносит стремнина; Пашка тонет в болоте…

Словно прочитав его мысли, брат грустно улыбнулся.

– Ладно, пойду я. – Он встал и отступил на шаг от кровати.

– Подожди! – Сашка рывком сел. – Ты мне снишься или нет?

Пашка хмыкнул и отвел взгляд.

– Конечно, снюсь. – Он сделал еще шаг и уперся спиной в зеркало. – Иначе как бы я пришел? У меня-то и ног, считай, больше нет…

Сашка почувствовал, что снова не может дышать – в горле

встал колючий ком, который просто невозможно было проглотить. Горло ожгло болью, когда он все же пропихнул его.

– А сам ты жив, что ли? – хрипло спросил он.

– Ага… – Пашка неожиданно застенчиво взглянул на него.

– И где ты?!

– Тут…

– Где тут?!

Пашка посмотрел в окно, за которым громадным сонным зверем ворочался туман. Смотрел долго, не шевелясь. А когда повернулся, в его глазах плавали те же влажные мертвенные сгустки, что и за окном. Даже голос, когда он заговорил, сочился той же сыростью:

– Я ближе, чем ты думаешь. – Его фигура дрогнула и начала тонуть в зеркале.

Наутро мама встала пораньше. Сашку разбудили доносящиеся с кухни их с бабушкой голоса. Он глянул в окно – занималось румяно-золотистое, как в меру прожаренный блин, утро. Он сел, спустив ноги с кровати. Пошевелил пальцами.

У меня-то и ног, считай, больше нет. Губы свело судорогой. Сашка быстро сделал несколько глубоких вдохов. По-

могло. Плачущий девятиклассник – жалкое зрелище.

– Проснулся? – Бабушка заглянула в комнату, просияла улыбкой. С кухни тянуло оладьями. – Идем завтракать, – бабушка поманила за собой, – оладушки с земляникой, как в детстве.

Наверное, она ждала проявления радости с его стороны, и, чтобы не разочаровывать ее, Сашка с горем пополам улыбнулся заледеневшими губами.

– Сейчас. – Натянув шорты, он ушел в ванную, умылся и долго смотрел на себя в маленькое настенное зеркало. Потом вспомнил про некормленую Белку и поспешил в сени.

– Сань! – позвала бабушка. – Ну иди посиди с нами, а то мама скоро уедет уже.

– Иду, – насыпав корм в миску, он вошел в кухню и уселся за стол. Перед ним тут же появилась тарелка с оладьями, усыпанными сахарной пудрой и крупной земляникой. Он жевал их, вполуха слушая, как мама с бабушкой что-то обсуждают.

– Яичек возьмешь, Натуль? – Бабушка зашуршала в холодильнике.

Наталья устало потерла глаза.

– А свежих нет?

Бабушка хлопнула дверцей. Обернувшись, горестно сморщила лицо.

– Хорь, будь он неладен, курей подавил! Молодок вот взяли, не несутся еще. Ну я тебе у Любаши возьму.

– Да ладно, – отмахнулась мама, – чего деньги тратить.

– Глупости какие. Мы с соседкой завсегда рассчитаемся. Она мне я́ичек – я ей маслица. Или сальца. А ты чего застыл? – переключилась бабушка на внука. – Добавки не просишь…

Она вывалила ему на тарелку целую сковороду оладий, щедро засыпала их сахарной пудрой.

– Деду оставь, – пробурчал Сашка с набитым ртом.

– А ну его, деда твоего! – тут же заругалась бабушка. – Вечно возится в огороде вместо того, чтобы посидеть со всеми! Провонял уж своим компостом вконец! Так что ешьте, нечего ему оставлять.

Мама послушно тыкала вилкой в оладьи, но Сашка видел, что мысли ее далеко.

А после обеда она уехала. Сашка проводил ее до такси и, вернувшись в дом, принялся собираться на посиделки. После завтрака забегал Ворон, сыпал перед бабушкой и мамой прибаутками, а за их спинами делал странные знаки. Есть водка, понял Сашка и снова ощутил, как без Пашки все изменилось. Будь он рядом, они бы сейчас беззвучно заорали: «О-о!» – и с предвкушением ждали, когда можно будет свинтить к друзьям. А теперь ему было все равно – ни дешевая водка, ни хохочущие девчонки не вызывали в нем интереса. Когда-нибудь это пройдет – он был уверен, – но точно не сегодня. Он даже думал не ходить, но потом решил, что чем дольше оттягивать момент встречи, тем тяжелее будет.

И потому пришел в заброшенный клуб, где вечно соби-

ралась местная молодежь. Впервые – один, без Пашки. Привыкнув быть все время вдвоем, он не понимал, что будет там делать один. Да и нужен ли он там теперь? Стоя перед кирпичным зданием, сквозь выбитые окна которого неслись смех и музыка, он как никогда остро осознал свое одиночество.

Сашка смотрел в окно и видел Пашку. Вот он повернулся полубоком… Вот держит в руке стакан, вот отколол шутку и смеется вместе со всеми… Сашка моргнул. Конечно, Пашки не было.

Взвизгнула дверь. Кто-то громко чихнул. Кто-то оглушительно заржал, дверь распахнулась целиком, и застигнутый врасплох Сашка шагнул навстречу.

– Ба! – удивился вышедший парень. – Заходи.

Он посторонился, и Сашка вошел внутрь. Его увидели, похлопали по плечам, сунули в руки пластиковый стаканчик. Он сел с краю. Потихоньку огляделся.

Она была здесь. В джинсовых шортиках и черной майке, со стянутыми в хвост густыми каштановыми волосами. Зоя. Их Зойка-пересмешница, в которую они с Пашкой прошлым летом как-то вдруг оба влюбились.

Сашка помнил отголосок той боли, что ткнулась в сердце, когда Пашка поделился, с *кем* идет на свидание. С ней – с Зойкой. А ведь когда говорил, знал, что и Сашке она нравится.

На одно мгновение Сашка тогда возненавидел его – за ци-

ничную ухмылку на смуглом и без загара лице, нахальную самоуверенность. Мелькнула крамольная мысль – устроить драку. Но сразу же отпустило. Это ж Пашка. Потому Зойка и выбрала его.

И Пашка ушел в ночь. И не вернулся. С тех пор Сашка не раз пожалел о своем малодушии. Устрой он тогда драку, и брат мог остаться дома. И был бы жив.

– Привет…

Он едва не подпрыгнул – ничего себе задумался. Зойка сжала теплыми пальцами ему ладонь, слегка уколов маникюром. Прижалась к его плечу. Повторила.

– Привет, – шепнув в ухо и обдав запахом клубничной жвачки.

– Привет, – шепнул он в ответ, и все вдруг стало как прежде. Сашка засмеялся, сам не зная чему. Зойка засмеялась тоже – тихо, будто замурлыкав.

– Давайте выпьем за нашего друга Пашку, – вдруг громко предложил забравшийся на сцену Ворон. Сашка обратил внимание, что Ворон не сказал – помянем. Как и все они, он остерегался говорить о Пашке в прошедшем времени. *Тела-то так и не нашли*.

Сашка не мешкая опрокинул стопарь в рот, задержал дыхание.

– Держи, – Зойка протянула ему две пластинки жвачки.

Сашка поспешно разомкнул губы, и Зойка вложила ему в рот сразу обе. Он торопливо разжевал их. Вкус клубники

почти сразу перебил мерзкий привкус водки. А в голове уже приятно шумело. Зойка улыбнулась. Когда он наклонился к ней, она не отстранилась…

– Но-но, голубки, потише, – прозвучал насмешливый голос, и Сашку словно выдернуло из тумана полузабытья, в который он погрузился. Ворон пьяновато засмеялся, хлопнул его по плечу.

– Пошли подышим.

– Кстати, ты знал, что эта херня продолжается? – выдал он, глядя, как ветер, устроив на кирпичной стене театр теней, треплет ветви деревьев.

Сашка окаменел, веселость слетела с него, как листья с дерева ноябрьской непогодой.

– Какая херня? – спросил он, хоть и сразу понял, о чем речь.

– Люди пропадают.

– И кто же?

– Мухомор. Уж с месяц как.

Сашка выдохнул.

– С него-то что взять? Дурачок ведь.

Ворон хмыкнул, глянул искоса.

– Ага, сорок лет как-то протянул.

Ветер принес тревожный запах полыни. Сашка облизнул губы. Горько. Сами собой полезли в голову мысли о Веньке. Взрослый мужик, а умишка как у семилетки… Как назло, вспомнились все каверзы, что с братом устраивали ему, все

дурацкие кричалки, что могли прийти на ум двум оболтусам. Не со зла, конечно, дразнили, так, для смеху… Но теперь стало неловко. Перед глазами как наяву стоял этот взгляд обиженного ребенка… И Венькина рука, до белизны на костяшках сжимающая кнутовище безобидного до поры тяжелого пастушьего кнута.

Сашка тряхнул головой – разве он пришел сюда киснуть?

– Да ну тебя. – Он полушутя пихнул Ворона в грудь. – Давай потом об этом.

– Хорошо, – согласился Ворон. – Просто хотел, чтоб ты знал.

– Ага… – Сашка развернулся и вошел в клуб. Зойка встретила его вопросительным взглядом. Он беззаботно отмахнулся, позволив ей отвлечь себя от всех вопросов.

Он плохо помнил, как вернулся домой. Только смазанные, словно неудачные акварели, моменты – как отпирал калитку, целовал мягкие Зойкины губы. Бабушкины причитания и дедов басистый смех…

И снова он видел сон. Конечно, приснился Венька. Стоял посреди дороги, в вечной красной в белый горох панамке, застенчиво ковыряя грязным пальцем босой ноги землю.

Комкал в руке кнутовище. Проходя мимо, Сашка опустил взгляд.

А Венька все смотрел детскими голубыми глазами, щипал себя за рыжеватую бороденку.

– Ты собираешься что-нибудь делать? – вдруг спросил он Пашкиным голосом и щелкнул кнутом. Сашка отшатнулся и полетел в какую-то яму. И падение было поистине бесконечным…

А утро, конечно, началось с тошноты и головной боли.

Он апатично впихивал в себя щедро сдобренную перцем уху, когда с улицы вошел дед. На его волосах и распаренной коже, словно прилипшие серебристые рыбьи чешуйки, поблескивали капли воды.

– С утра баню топишь? – скребя ложкой по дну тарелки, вяло удивился Сашка.

– Люблю это дело, – ухмыльнулся дед. – Может, тебе, это, водки с похмелья-то?

Бабушка громко ахнула, замахнулась половником.

– С ума сбрендил!

– Ладно-ладно, – посмеиваясь, отступил тот и снова обратился к Сашке: – Ты б скотину свою пустил погулять, куда она денется?

Сашка подумал и решил согласиться.

Дочерпав уху, он вышел в сени и открыл перед Белкой дверь. Осторожничая, она вышла на крыльцо, удивленно ловя запахи, что нес с собой ветерок. Для Сашки воздух пах

травами и немножко медом, а Белка наверняка обоняла многое другое – стоящих в сарае коз, крадущуюся вдоль забора мышь, стрекочущих в траве кузнечиков. Потом она сошла с крыльца и, настороженно поглядывая по сторонам, двинулась к сараю.

Сашка вошел следом. Пробравшийся за ним солнечный луч тускло отразился на стоявших вдоль стены лопатах и вилах, мимолетной вспышкой блеснул на лезвии висящего на крюке топора. С сеновала доносилось громкое мурлыканье и едва слышное попискивание. Сашка прошел мимо пустых кроличьих клеток, сощурился, оглядывая сарай, и от увиденной картины губы сами собой расплылись в улыбке.

Муха по-королевски возлежала на сене. На почтительном расстоянии, тараща круглые от изумления глаза, примостилась Белка. Муха на удивление спокойно реагировала на подобное соседство. Под ее брюхом копошились светло-серые комочки. Сашка присел рядом, зашарил глазами, пересчитывая.

– Че, опросталась уже? – В дверном проеме выросла тень, заполнила собой едва ли не весь сарай. Сашка невольно втянул шею, вжал голову в сведенные плечи. Поймал себя на этом и тут же распрямился.

– Ага, и много. – Он покосился на деда через плечо. – Семерых насчитал.

– Эт хорошо, – дед ухмыльнулся и, наклонившись, почесал лодыжку. – Эт завсегда хорошо.

И от его устремившегося в пустоту взгляда Сашке отчего-то стало не по себе.

Интересная штука – деревня. Приезжаешь вроде бы в гости, но вдруг оказываешься дома.

Три недели пролетели как три дня. Того, чего боялся Сашка, так и не случилось. В зону отчуждения он не попал. Были и речка с рыбалкой, и красивое Зойкино тело в бикини на заросшем мягкой травой берегу. И ежевечерние посиделки с музыкой. Было просто еще одно сумасшедшее мимолетное лето кажущейся бесконечной юности.

А потом все разом кончилось.

Проводив Зойку, Сашка мыслями витал высоко над землей и, лишь увидев во дворе чужую женщину, что стояла напротив бабушки, очнулся.

Женщина не выглядела соседкой, забежавшей поболтать. Да и бабушка была настроена враждебно. Они яростно спорили, но, заметив Сашку, замолкли. Незнакомка, на мгновение замешкавшись, развернулась и бросилась со двора, едва не сбив Сашку плечом. В ее бледно-голубых глазах плескался гнев.

Пропуская ее, Сашка поспешно посторонился. Это ж

Венькина мать, глядя на короткие светло-рыжие, словно бы припорошенные снегом волосы, вспомнил он.

А она, уже проскочив мимо, вдруг шагнула назад и прянула к нему.

– Все вижу! – зашипела ему в лицо. – Дед твой тварь страшную прикормил, а тварь та сердце его сожрала! Кровавик-камень в его груди теперь! Она и твое сожрет, как отцу твоему лицо сгрызла, да судьбу Пашкину…

Сашка часто-часто заморгал.

– Дура заполошная! – Бабушка разъяренной гусыней налетела на незваную гостью, замахала руками. – Что ты мелешь!

Она теснила ее, пока не вытолкала за калитку. Постояла, тяжело дыша и комкая стиснутые перед грудью ладони.

– Не обращай внимания, Сашенька. Валька с горя ума лишилась, вот и несет невесть что. – Бабушка выдохнула и вдруг улыбнулась. – Пойдем в дом, я блинчиков напекла.

Сашка поразился этой быстрой смене эмоций. Какие блинчики, хотел сказать он, но смог лишь кивнуть.

А после ужина выяснилось, что Белка пропала. Встревоженный Сашка вернулся в кухню.

– Бабуль, ты Белку не видела?

Она оглянулась, сморщила лицо в улыбке.

– Нет, Сашуль, не видала.

Он сбегал в сарай – Муха лежала на сене, вокруг шебаршились недавно начавшие бегать котята. Сашка заметил

лишь двоих, но сейчас ему было не до того.

Он вышел, споткнувшись о порог. На улице смеркалось. Алый закат заливал деревню кровавыми потоками. Сашка покосился на Ласкину конуру. В безобидности этого пушистого валенка он уже убедился, но кто знает… Присев на корточки, потянул за уходящую в конуру цепь. Ласка выбралась наружу, зевнула, показав клыки. Сашка потрепал ее по косматой холке и заглянул в будку. Внутри пахло псиной. Он даже пошарил там рукой – лишь слежавшаяся солома да пара припрятанных костей. Сашка поднялся, обтер руку о траву и замер… Среди стеблей запутался клок белой шерсти. Подувший ветер принес к ногам еще один. Сашка выпрямился, взглянул туда, откуда прилетел комок, – за невысокой оградой начинались бесконечные огородные сотки.

Он решительно перепрыгнул заборчик и, поглядывая по сторонам, зашагал через картофельное поле и длинные тыквенные грядки. Миновав теплицы с огурцами и помидорами, остановился. Здесь ему бывать не доводилось – огород никогда не вызывал ни малейшего интереса.

Оказалось, что он оканчивается неопрятным заросшим куском земли. Торцы теплиц тонули в лебеде, крапиве и одичалой малине. Видимо, чтобы остановить нашествие сорняков, дед насыпал земляные валы и подрубал тяпкой прорастающие стебли. Шагов через тридцать, у самого забора, среди рослого бурьяна едва виднелась неказистая сараюшка. Подобный беспорядок плохо вязался с ухоженной частью

огорода.

Сашка оглядел заваленную срубленными сорняками земляную преграду. Из-под свежих, слегка подвяленных солнцем охапок выглядывали старые, ссохшиеся. Сам не зная зачем, он взял верхнюю охапку за измочаленные концы и откинул в сторону. Следом потащились и случайно зацепившиеся сухие стебли. А вместе с ними покатились комья земли, открыв едва заметную тропинку…

Собственно, ее и тропинкой нельзя было назвать – так, один-другой сломанный стебель, кое-где смятые листья. Тот, кто ходил здесь, делал это аккуратно. Тропинка упиралась в сарай.

Сашка перелез через вал, пробрался к двери. Здесь сильно пахло навозом. Что Белке тут делать? Сашка уже разворачивался, как вдруг заметил то, отчего сжалось сердце.

Кровь. На листьях, на сарайной стене – там россыпь подсохших капель, тут пара смазанных отпечатков.

Он приоткрыл хлипкую дверь, увидел огромную кучу конских яблок и тут же закрыл. На всякий случай обошел сарай – позади обнаружилась земляная насыпь, полностью закрывающая собой заднюю стену. Хоть и рукотворная, теперь она, поросшая бурьяном и вездесущей малиной, казалась просто частью плацдарма для армии сорняков.

На всякий случай покыскав, злясь на себя, что послушал деда, Сашка вернулся во двор.

А на крыльце сидел дед Иван. Шумно отхлебывал чай из

большой кружки, скреб ногтями правую лодыжку.

– Грядки полол?

От дедова вкрадчивого голоса Сашка замер, ощутив себя пятилеткой, залезшим туда, куда соваться запрещено.

– Кошку искал… – Он замер, подавившись словами. На обхватывающей кружку руке деда краснели царапины.

Дед смотрел на него, словно сытый хищник на остолбеневшую жертву. Сашка кашлянул.

– А что за сарай там, в конце огорода?

– Просто сарай. – Дед опрокинул в себя остатки чая, подцепил пальцем кружок лимона. Кинул в рот, прожевал не поморщившись. – Привез машину конского навозу, ссыпал туда, так теперь лежит без дела.

– А что с рукой?

Дед покосился на царапины.

– Мухиных котят для соседских ребятишек отбирал, так она вцепилась.

– Ты ж говорил, она как валенок…

Дед хмыкнул, поднялся – высокий, здоровенный, чуть не в два раза крупнее внука. Сашка неожиданно почувствовал, как в голове начала шуметь кровь.

– А Белку не видел?

– Не-а… – Дед качнул головой, и его изображение в Сашкиных глазах вдруг стало двоиться. Земля под ногами неприятно качнулась. Сильная рука взяла за плечо, поддержала, прекратив противную качку.

– Пошли домой, темно уже, – сказал дедов голос. – А скотину твою завтра поищем.

Наутро Сашка не мог вспомнить, как оказался в постели, как уснул.

В оконное стекло брякнулся камешек. Сообразив, что это значит, Сашка подскочил и метнулся к окну. За палисадником маячила Зоя. Заулыбалась, приложила указательный палец к губам и помахала, зовя к себе.

– Иду, – беззвучно ответил он, шаря рукой по креслу, на которое вчера вроде бы сбросил одежду.

– Ты куда? – Бабушка грудью встала у него на пути, когда он обувался в сенях. – А завтрак? Опять эта вертихвостка явилась?!

– Опять? – Он поднял на нее глаза.

– Спозаранку тут крутится, – буркнула бабушка и под сердитым Сашкиным взглядом юркнула за дверь. – Как есть вертихвостка.

– Белка не пришла? – крикнул он вслед.

– Нет. – Бабушка загремела посудой.

И деда нет, думал Сашка, идя через двор на улицу.

Зойка ждала его за забором.

– Чего в дом не зашла? – Он обнял ее, зарылся лицом в пушистые волосы.

– Пошли на речку. – Она с улыбкой отстранилась и вместо ответа потрясла шуршащим пакетом. – Я завтрак приготовила.

От реки тянуло свежестью, на середине лениво играла рыба. Сашка жевал бутерброд, глядя, как у берега скользят водомерки. Словно сговорившись, ели молча, не желая нарушать тишину утра.

– Боюсь я твоего деда, – наконец заявила Зойка, когда, съев по бутерброду, они валялись на траве.

– В каком смысле? – надкусывая отыскавшееся в пакете яблоко, удивился Сашка. Но больше по инерции удивился, а у самого внутри уже загорелся тревожный индикатор.

– Он жуткий какой-то.

– Да ладно… – Он еще пытался улыбаться, словно над глупой шуткой – но ведь и впрямь глупость, это ж деда Ваня, свой, родной. – Что в нем жуткого?

Зойка села, распустила хвост, связала его заново и, обняв колени, устремила взгляд за реку.

– Тетя Валя, Венькина мать, говорит, что у него кровавик-камень в груди вместо сердца…

– Чего-о? – насмешливо протянул Сашка и сразу вспомнил недавнюю сцену во дворе дома. – А, ну да, она и к нам приходила. Чушь какую-то несла.

– И пахнет от него странно, – упрямо продолжала Зойка. –

Мы когда еще с Пашкой встречались… – Она замялась и покосилась на Сашку.

Боится, как отреагирую, понял он. Потому просто смотрел на нее, улыбаясь и перекатывая в пальцах яблоко.

– Он нас пару раз во дворе у вас застукивал… Ну подходил, заговаривал… Я сразу почуяла…

Сашка замер. Не заметь он сам исходящий от деда легкий непонятный запах, мог бы просто не обратить внимания на Зойкины слова. А ведь дед баню дважды в неделю топит, все моется…

– И что за запах? – Он усмехнулся, показывая, что всерьез не воспринимает все это, но губы вдруг предательски дрогнули.

Зойка замялась, а потом выпалила:

– Мертвечина!

– Ну это уж чересчур… – пробурчал Сашка и замолчал, не зная, что говорить дальше.

Зойка повернулась так резко, словно в нее камень кинули. На загорелом лице проступил сердитый румянец.

– Ты знаешь, что баба Лида за год трижды кур покупала?

– Так хорь потаскал…

– И собака ваша пропала! И кошка вечно брюхатая ходит, а котят нет. Мой отец хотел кроля купить у вас на племя, так и кроликов не оказалось.

И Белка исчезла, мог бы добавить Сашка, но вместо этого промямлил, словно в оправдание:

– Дед говорил, Дина умерла…

Зойка не стала спорить. Сашка даже не понял, услышала она его или нет.

– Пашка не просто так исчез… – Она нервно почесала ногтями щеку, оставив красные полосы. – Он что-то увидел в ту ночь.

Сашка хмыкнул и со злостью запустил недоеденным яблоком в реку.

– Ага… И дед его убил, так, что ли?

Зойка дернула плечом.

– Мне почем знать? Сам-то ничего не замечаешь?

Можно было бы слукавить, сказать, что все обычно, но отчего-то язык не поворачивался. Зойка словно поняла Сашкино состояние, перестала ершиться. Предположила негромко:

– А если он кормит кого-то?

– Да кого?

– Может, из леса зверя притащил. Волка. Рысь…

– Зачем?

Зойка поежилась.

– Откуда мне знать?

Сашка на мгновение задумался.

– Если представить, что ты права… На минуточку… То где б он мог держать дикое и опасное животное?

И сразу же в памяти услужливо всплыл заброшенный сарайчик. И гора земли за ним. Откуда она? А если под сараем

погреб? Что в нем? Или кто?

– Есть у нас за огородом одно странное местечко…

В Зойкиных глазах вспыхнул азарт.

– Заглянем? – предложила она.

Сарай был сверху донизу забит навозом. Если в полу и скрывалась крышка от погреба, то она была напрочь завалена. Только у входа оставалось немного места. Рядом на крючке висел плащ, стояли резиновые сапоги. Сашка взглянул на размер сапог – ему велики, а вот деду в самый раз. На подошвах виднелись прилипшие соломинки и кусочки навоза.

Еще там был фонарь. Сашка включил его – работает. Зойка нетерпеливо пихнула его в спину.

– Давай за кучей посмотрим, – скомандовала она.

– Да как мы ее обойдем-то? – Сашка осветил навозную гору, невольно сморщился.

– По краешку!

Подталкиваемый ею, он двинулся вперед, стараясь как можно плотнее держаться к стене. Подошвы кроссовок давили мягкое и липкое. Зойка, шумно дыша сквозь прижатый к лицу низ футболки, словно тень двигалась следом.

Они остановились позади кучи. Сашка ощупал светом фо-

наря заднюю стену, и Зойка торжествующе пискнула, когда тусклый луч осветил сколоченную из досок почти незаметную дверь. Сашка, приготовившись к чему угодно, толкнул ее… и сердце ухнуло в желудок. Коротко всхлипнула Зойка и тут же спрятала лицо в ладонях.

Это было похоже на пыточный застенок, на сцену из фильма ужасов. Низкий, подшитый деревом потолок опирался на толстые вертикальные балки. Вдоль стен тянулись ряды клеток. В них сидели кошки, кролики, куры, белки. Испуганные, прячущиеся от света, грязные, истощенные. Некоторые не подавали признаков жизни. Пахло несвежей едой, загаженной соломой, спекшейся кровью.

А потом Сашка увидел в одной из клеток нечто… Вернувшееся на место сердце забилось вытащенной из воды рыбой. Внутренний импульс толкнул Сашку туда. Просто взглянуть… Потому что… да потому, что этот грязный маленький комок никак не мог быть Белкой.

И все же он распахнул закрытую на крючок дверцу и приподнял мертвому зверьку голову. И замер, ошарашенный тяжестью той плотной душащей массы, что навалилась на него. И сам не ожидал, что будет так больно…

Шерсть скомкалась и утратила белизну, но смешная курносость была слишком узнаваема, чтобы он мог спутать ее с кем-нибудь. Сашка вытащил зверька и прижал к груди. Не было ни брезгливости, ни страха. Только огромная, неимоверная жалость.

Он бессознательно баюкал мертвое тельце, вспоминая, как поил найденыша молоком, как учил кошачьим премудростям.

А потом на смену жалости пришла злость. Словно сквозь рыхлый обволакивающий слой пробились острые, рвущие плоть шипы. Злость подстегивала, требовала действий.

Сашка положил Белку на землю у стены, постаравшись выбрать место почище. Теперь-то он точно выяснит, что за тварь дед держит в этом гадюшнике!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.